

Набоковский «роман с английским языком» достигает
в «Бледном огне» своей кульминации. *Энтони Берджесс*

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
Бледный огонь

PREMIUM

Азбука Premium

Владимир Набоков

Бледный огонь

«Азбука-Аттикус»

1962

Набоков В. В.

Бледный огонь / В. В. Набоков — «Азбука-Аттикус»,
1962 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-08383-7

Роман «Бледный огонь» Владимира Набокова, одно из самых неординарных произведений писателя, увидел свет в 1962 году. Выйдя из печати, «Бледный огонь» сразу попал в центр внимания американских и английских критиков. Далеко не все из них по достоинству оценили новаторство писателя и разглядели за усложненной формой глубинную философскую суть его произведения, в котором раскрывается трагедия отчужденного от мира человеческого «я» и исследуются проблемы соотношения творческой фантазии и безумия, вымысла и реальности, временного и вечного. Однако, несмотря ни на что, это наиболее трудное и непрозрачное англоязычное произведение Набокова стало бестселлером, породив по прошествии некоторого времени множество литературоведческих исследований. В настоящем издании роман печатается в переводе, выполненном Верой Набоковой.

ISBN 978-5-389-08383-7

© Набоков В. В., 1962

© Азбука-Аттикус, 1962

Содержание

От переводчицы	6
Бледный огонь	7
Предисловие	8
Бледный огонь	16
Песнь первая	16
Песнь вторая	20
Песнь третья	28
Песнь четвертая	35
Комментарий	40
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Владимир Набоков

Бледный огонь

PALE FIRE

by Vladimir Nabokov

Copyright © 1962, Vera Nabokov and Dmitri Nabokov

Russian translation copyright © 1983, Vera Nabokov

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with the Estate of Vladimir Nabokov

Перевод с английского Веры Набоковой

© В. Пожидаев, оформление серии, 1996

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

От переводчицы

Когда этот трудный перевод был сделан начерно, оказалось, что потребуется еще очень большая работа, прежде чем можно будет его напечатать. Эта работа заняла у меня три с лишним года. Перевод «Бледного огня» представлял некоторые особые трудности сверх обычных трудностей перевода набоковских текстов, в которых каждая фраза наполнена до краев содержанием и не заключает в себе ни единого лишнего слова.

В этой книге «примечания» к поэме вовсе не являются примечаниями к ней. Все же они состоят в некоторой связи с цитируемыми строчками, и связь эта должна быть сохранена, что не всегда случается автоматически при точном переводе строчек и примечания. Вот несколько случаев, в которых переводчице пришлось слегка отклониться от оригинального текста:

В строчках 728–729 сделана попытка сохранить хотя бы намек на остроумную игру слов оригинала.

Строки 653–664. Хотя поэма переведена без рифм и размера, эти строчки потребовали ритма для сохранения ауры «Лесного царя» (который в дальнейшем еще раз дает о себе знать).

Строки 828 и 830 также не могли обойтись без рифмы.

Я старалась как можно ближе придерживаться смысла оригинала, но все же не смею утверждать, что мне удалось понять и передать всю сложную внутреннюю перекличку мыслей и образов.

Вера Набокова

Монре, 16 ноября 1982 г.

Посвящаю моей жене

Бледный огонь

Это напомнило мне его курьезный рассказ мистеру Лэнгтону о непристойном поведении одного молодого человека из хорошей семьи: «Сударь, последний раз, что мне о нем говорили, он бегал по городу и стрелял кошек». А потом, в каком-то ласковом рассеянии, он вспомнил про своего любимца кота и сказал: «Но Ходжа никто не застрелит, – нет, нет, Ходжа никто не застрелит».

Джеймс Босвель.

Жизнь Сэмюэля Джонсона

Предисловие

Написанная героической строфой поэма «Бледный огонь» – девятьсот девяносто девять строк, разделенных на четыре песни, – сочинена Джоном Фрэнсисом Шейдом (род. 5 июля 1898 г., ум. 21 июля 1959 г.) в течение последних двадцати дней его жизни, в собственном его доме в Нью-Уэе, в штате Аппалачия, США. Рукопись, большей частью чистовой экземпляр, с которого совершенно точно отпечатан настоящий текст, состоит из восьмидесяти библиотечных карточек среднего формата, из коих на каждой Шейд употреблял розовую линию для заголовка (номер песни, дата), а на остальных четырнадцати голубых линиях тонким пером, мельчайшим, аккуратным, удивительно ясным почерком, выписывал текст поэмы, с пропуском одной линии в обозначение двойного интервала, всегда начиная новую карточку под начало каждой песни.

Короткая (166 строк) Песнь первая, со всеми ее забавными птицами и паргелиями, занимает тринадцать карточек. Ваша любимая Песнь вторая, а также Песнь третья, этот поразительный *tour de force*, одинаковы по длине (334 строки) и занимают по двадцать семь карточек каждая. Песнь четвертая совпадает по длине с первой и, так же как она, занимает тринадцать карточек, из коих четыре последние, использованные им в день смерти, принадлежат не к чистовому экземпляру, а к исправленному черновику.

Будучи человеком методичным, Джон Шейд обычно к полуночи переписывал очередную порцию завершенных строк, но даже если он иной раз, как я подозреваю, и переписывал их позднее заново, то помечал карточку (или карточки) не днем окончательной правки, а датой исправленного черновика или первого чистового экземпляра. Я хочу сказать, что он сохранял фактическую дату написания в предпочтение вариантам правки. Прямо напротив моей нынешней квартиры находится очень громкий увеселительный парк.

В результате мы располагаем полным календарем его работы. Песнь первая была начата в послеполуночные часы 2 июля и завершена 4 июля. Следующую песнь он начал в свой день рождения и закончил 11 июля. Еще одна неделя была посвящена Песни третьей. Песнь четвертая была начата 19 июля, и, как уже отмечено, последняя треть ее текста (строки 949–999) дошла до нас лишь в форме исправленного черновика. Этот отрывок, по виду чрезвычайно растрепанный, изобилующий опустошительными подчистками и стихийного масштаба вставками, не следует линиям карточек с той же педантичностью, что чистовой экземпляр. В действительности же, как только вы погружаетесь в него и принуждаете себя открыть глаза в прозрачных глубинах под его возмущенной поверхностью, он оказывается изумительно точным. В нем нет ни единой неполной строки, ни одного сомнительного прочтения. Этого факта достаточно, чтобы показать, что обвинения, выдвинутые (24 июля 1959 г.) в газетном интервью одним из наших самозванных шейдистов – утверждавшим, *никогда не выдав рукописи поэмы*, что она «состоит из разрозненных набросков, из которых ни один не представляет точного текста», – есть злостная выдумка тех, кто желал бы не столько пожалеть, о том, в каком состоянии работа великого поэта была прервана смертью, сколько подвергнуть хуле компетенцию, а может быть, и честность нынешнего редактора и комментатора.

Другое заявление, сделанное публично профессором Хёрли и его кликой, относится к структурным соображениям. Цитирую из того же интервью: «Никто не может сказать, какой длины предполагал сделать свою поэму Джон Шейд, но вовсе не исключено, что оставленное им есть лишь малая часть сочинения, видевшегося ему туманно, как бы сквозь стекло». Опять чепуха! Помимо сущего горна внутренней очевидности, звенящего на протяжении всей Песни четвертой, существует свидетельство Сибиллы Шейд (в документе, датированном 25 июля 1959 г.), что ее муж «никогда не намеревался выйти за пределы четырех частей». Для него Третья песнь была предпоследней, и я лично слышал, как он говорил об этом во время

прогулки на закате, когда, как бы думая вслух, он делал смотр трудам минувшего дня и жестикулировал в простительном самоодобрении, меж тем как его сдержанный спутник безуспешно старался приноровить ритм своего долгоногого размашистого шага к порывистой дергающейся походке растрепанного старого поэта. Более того, я даже осмелюсь утверждать (пока наши тени продолжают прогулку без нас), что ему оставалось написать лишь *одну* строку поэмы (а именно, стих 1000), которая была бы идентична первой строке и завершила бы структурную симметрию, с двумя одинаковой длины центральными частями, основательными и пространственными, образующими вместе с более короткими флангами пару крыл в пятьсот строк каждое, и будь она проклята, эта музыка. Зная комбинационную склонность ума Шейда и его тонкое чувство гармонического равновесия, я не могу себе представить, чтобы он намеревался искалечить грани своего кристалла, препятствуя его предсказуемому росту. И если бы и этого не было достаточно – а этого совершенно, совершенно достаточно, – я имел несравненную возможность услышать из собственных уст моего бедного друга вечером 21 июля, что труд его завершен – или почти завершен (смотри мое примечание к стиху 991).

Эта пачка из восьмидесяти карточек была скреплена резиновым кольцом, которое я теперь вновь благоговейно на них натягиваю, в последний раз просмотрев их драгоценное содержание. Другая, гораздо более тонкая стопка, состоящая из двенадцати карточек, которые были скреплены вместе и помещены в тот же бурый конверт, что и главная пачка, содержит несколько дополнительных двустий, пролагающих свой краткий и несколько смазанный путь сквозь хаос первоначальных набросков. Шейд держал за правило уничтожать черновики, как только у него отпадала в них нужда; я хорошо помню, как одним сияющим утром я видел с моего крыльца, как он сжег целую колоду их в бледном огне мусорной печи, перед которой он стоял, склонив голову, как официальный плакальщик на похоронах, среди подхватываемых ветром черных бабочек этого задворочного аутодафе. Он все же сохранил эти двенадцать карточек ради неиспользованных удач, сияющих из-под окарины исчерпанных черновиков. Возможно, что он смутно предполагал заменить некоторые места чистового экземпляра иными прелестными вариантами из своего запаса, или, что более вероятно, предпочтение, украдкой питаемое к тому или иному наброску, исключенному из соображений архитектоники или же потому, что это раздражало С., побудило его отложить запасные варианты до того времени, когда мраморная завершенность безупречной машинописи либо подтвердит их, либо заставит казаться самый изящный вариант неуклюжим и нечистым. А еще возможно, и да будет мне позволено добавить это со всей скромностью, что он намеревался испросить моего совета по прочтении поэмы мне, – это, я знаю, входило в его планы.

Эти отвергнутые разночтения читатель найдет в моих комментариях к поэме. На их место в тексте указывают или, по крайней мере, намекают черновики окончательных строк, находящихся в непосредственной близости. В некотором смысле многие из них обладают большей художественной и исторической ценностью, чем иные из лучших мест в конечном тексте. Здесь мне следует объяснить, каким образом я оказался редактором «Бледного огня».

Тотчас после смерти моего дорогого друга я убедил убитую горем вдову предусмотреть и дать категорический отпор коммерческим страстям и академическим интригам, которые не могли не разыграться вокруг рукописи ее мужа (переправленной мною в надежное место еще до того, как его тело упокоилось в могиле), подписав соглашение о том, что он передал рукопись мне; что я незамедлительно опубликую ее с моим комментарием в любом издательстве по моему выбору; что весь доход, за вычетом доли издателя, поступит ей; и что в день публикации рукопись будет передана в Библиотеку Конгресса на вечное хранение. Я предлагаю любому серьезному критику найти какую бы то ни было несправедливость в таком контракте. Тем не менее он был назван (бывшим адвокатом Шейда) «фантастическим месивом зла», меж тем как другое лицо (его бывший литературный агент) с издевкой интересовалось, почему это дрожащая подпись г-жи Шейд выведена «какими-то странными красными чернилами». Такие

сердца и такие умы не в состоянии понять, что привязанность человека к шедевру может быть совершенно подавляющей, в особенности когда изнанка ткани восхищает созерцателя и единственного зачинателя, чье прошлое переплетается в ней с судьбой простодушного автора.

Как, кажется, упомянуто в моем последнем примечании к поэме, глубинная бомба смерти Шейда разворотила такие тайны и подняла со дна столько мертвой рыбы, что мне пришлось покинуть Нью-Уай вскоре после моей последней беседы с помещенным в заключение убийцей. Составление комментария пришлось отложить до тех пор, пока я не подыщу нового инкогнито в более спокойном окружении, но практические вопросы, относящиеся к поэме, требовали безотлагательного разрешения. Я полетел в Нью-Йорк, сделал фотокопию рукописи, договорился об условиях с одним из издателей Шейда и уже был на грани заключения сделки, когда, как бы вскользь, посреди необъятного заката (мы сидели в орехово-стеклянной келье в пятидесяти этажах над процессией скарабеев), мой собеседник заметил: «Вы будете рады узнать, доктор Кинбот, что профессор Имя рек (один из членов Шейдовского комитета) согласился сотрудничать с нами в качестве консультанта по этому материалу».

«Радость», знаете ли, есть нечто чрезвычайно субъективное. Одна из наших глуповатых земблянских поговорок гласит: *радуется потерянная перчатка*. Я немедленно защелкнул замок моего портфеля и направился к другому издателю.

Вообразите мягкосердечного неуклюжего великана, вообразите историческую личность, для которой понятие о деньгах сводится к абстрактным миллиардам государственного долга; вообразите монарха в изгнании, не подозревающего о Голконде, скрытой в его запонках! Все это к тому – о, с преувеличением, – что я самый непрактичный человек в мире. Отношения между таким человеком и старой лисой книгопечатного дела бывают сначала трогательно беззаботные и приятельские, исполненные дружелюбного поддразнивания и знаков взаимной приязни. У меня нет оснований полагать, что какая-либо случайность помешает подобным первоначальным отношениям с добрым старым Фрэнком, моим нынешним издателем, остаться такими.

Фрэнк подтвердил благополучное возвращение корректуры, которую он высылал мне сюда, и попросил упомянуть в моем предисловии – и я охотно это делаю, – что ответственность за все ошибки в комментариях лежит исключительно на мне. Вставить перед профессиональный. Профессиональный корректор внимательно сверил с фотокопией манускрипта печатный текст поэмы и нашел в нем несколько пропущенных мною пустяковых опечаток; это была единственная посторонняя помощь, к которой мне пришлось прибегнуть. Излишне говорить о том, как уповал я на получение от Сибиллы Шейд массы биографических данных, но она, к сожалению, покинула Нью-Уай еще прежде меня и в настоящее время живет у родственников в Квебеке. Мы, разумеется, могли бы вести плодотворнейшую переписку, но от господ шейдистов так просто не отделаешься. Они стаями ринулись в Канаду и набросились на бедную женщину, как только я потерял контакт с ней и с ее переменчивыми настроениями. Вместо того чтобы ответить на мое месячной давности письмо из моей сидарнской пещеры, где перечислялись некоторые из самых важных вопросов, в том числе вопрос о настоящем имени Джима Коутса и т. д., она внезапно ошарашила меня телеграммой с просьбой принять профессора Х. (!) и профессора К. (!!) в качестве соредакторов поэмы ее мужа. Как глубоко это поразило и уязвило меня! Естественно, это исключило всякую возможность сотрудничества с введенной в заблуждение вдовой моего друга.

А он и впрямь был моим другом! Согласно календарю мы были знакомы лишь несколько месяцев, но существует вид дружбы со своей собственной внутренней длительностью, с собственными зонами прозрачного времени, не зависящими от вертящейся зловерной музыки. Я никогда не забуду возбуждения, охватившего меня при известии, как упомянуто в одном из примечаний, до которого читатель дойдет, о том, что пригородный дом (снятый для меня у судьи Гольдсворта, отбывшего в Англию на отпускной год), в который я въехал 5 февраля

1959 года, расположен рядом с домом знаменитого американского поэта, чьи стихи я пытался перелагать на земблянский язык два десятилетия назад! Помимо этого славного соседства, гольдсвортовское шато, как я вскоре понял, не отличалось особыми достоинствами. Система отопления представляла из себя фарс, поскольку зависела от вентиляционных отдушин в полу, откуда тепловатые истечения урчащей и стонущей топки подавались в комнаты со слабостью последнего вздоха умирающего. Залепив выходные отверстия наверху, я пытался направить побольше энергии в гостиную, но ее климат оказался неизлечимо подорванным, т. к. между ней и арктическими областями не было ничего, кроме тонкой входной двери, без какого-либо признака прихожей – потому ли, что дом этот был построен в разгар лета наивным поселенцем, не имевшим понятия о том, какую зиму припас для него Нью-Уай, или в силу некой старозаветной чопорности, требовавшей, чтобы случайный гость мог через открытую дверь убедиться, что в гостиной не происходит ничего предосудительного.

В Зембле февраль и март (последние два из четырех «белоносых месяцев», как мы их называем) тоже бывали довольно суровыми, но даже в крестьянской избе всегда была равномерная масса тепла, а не сеть убийственных сквозняков. Правда, как обычно случается с новоприезжими, мне объяснили, что я выбрал худшую зиму за много лет, – и это на широте Палермо! В одно из первых моих тамошних утр, когда я собирался отправиться в колледж на только что приобретенном мощном красном автомобиле, я заметил, что г-н и г-жа Шейд, с которыми я до тех пор еще не встречался в обществе (как я узнал впоследствии, они полагали, что я предпочитаю быть оставленным в покое), хлопотали вокруг своего старого «паккарда» на скользком выезде из гаража, где он испускал страдальческий вой, но никак не мог извлечь замученное заднее колесо из ледяного ада выбоины. Джон Шейд неуклюже возился с ведром, из которого он жестами сеятеля разбрасывал по голубой глазури пригоршни бурого песка. Он был в ботах, его викуний воротник был поднят, на солнце его обильная седая шевелюра, казалось, была покрыта инеем. Я знал, что за несколько месяцев до этого он болел, и поспешил к ним, думая подвезти моих соседей до кампуса на своей мощной машине. Мой наемный замок был отделен от выезда соседей переулком, огибавшим легкое возвышение, на котором он стоял, и я собирался пересечь его, как вдруг потерял равновесие и сел на удивительно жесткий снег. Мое падение подействовало на седан Шейдов подобно химическому реактиву, – он немедленно тронулся с места и едва не переехал меня, меж тем как Джон энергично гримасничал за рулем, а Сибилла что-то свирепо ему втолковывала. Я не уверен, что кто-либо из них меня заметил.

Однако несколькими днями позднее, а именно в понедельник 16 февраля, меня представили старому поэту за завтраком в клубе академического персонала. «Наконец вручил верительные грамоты», как записано с легкой иронией в моем рабочем дневнике. Вместе с четырьмя или пятью другими заслуженными профессорами я был приглашен к его обычному столу под увеличенной фотографией Вордсмитского колледжа, ошеломленного и облупленного, каким он был запечатлен в удивительно мрачный летний день 1903 года. Меня позабавило его лаконичное предложение «отведать свинины». Я – строгий вегетарианец и предпочитаю сам готовить себе пищу. Как я объяснил моим румяным сотрапезникам, употреблять в пищу что-либо прошедшее через руки другого живого существа, мне столь же отвратительно, как есть такое существо, включая – тут я понизил голос – пухлявую студентку с жеребьячим хвостиком, которая прислуживала нам, слюнявя карандаш. Кроме того, я уже покончил с принесенным в портфеле фруктом, сказал я, и потому удовольствуюсь бутылкой доброго колледжского эля. Мое вольное и простое обращение разрядило атмосферу. Посыпались обычные вопросы – о том, приемлемы ли для человека моих убеждений яичные и молочные напитки. Шейд сказал, что его случай скорее обратный: чтобы поесть овощей, ему необходимо совершить усилие. Приступить к салату для него все равно что войти в холодный день в морскую воду, а для атаки на крепость яблока ему надо основательно взять себя в руки. К тому времени я еще не освоился с довольно утомительным шутовством и подтруниванием, принятыми

в тесной американской академической среде, и потому воздержался от того, чтобы высказать Джону Шейду в присутствии этих ухмыляющихся старых мужчин мое глубокое восхищение его творчеством, дабы серьезная литературная беседа не выродилась в обыкновенное гаерство. Вместо этого я задал ему вопрос об одном из моих новообретенных студентов, посещавшем также его курс, – замкнутом, тонком, довольно обаятельном мальчике; но старый поэт в ответ мне тряхнул решительно седым чубом и сказал, что давным-давно перестал запоминать имена и лица студентов, и из всего семинара поэзии помнит зрительно только вольнослушающую даму на костылях. «Да ну, – сказал профессор Хёрли. – Неужели, Джон, вы ни сном ни духом не помните эту потрясающую блондинку в черном трико из литературного курса 202?» Шейд, лучась всеми морщинками, добродушно похлопал Хёрли по кисти, чтобы тот перестал. Другой инквизитор спросил, правда ли, что я установил у себя в подвале два стола для пинг-понга. «Разве это преступление?» – спросил я. Нет, отвечал он, но зачем же два? «Разве *это* преступление?» – парировал я, и все рассмеялись.

Несмотря на слабое сердце (см. стих 736), легкую хромоту и некую любопытную неправильность в методе передвижения, Шейд непомерно любил длинные прогулки, но снег мешал ему, и зимой он предпочитал, чтобы после лекций за ним заезжала жена. Несколькими днями позднее, выходя из Партеносиссус-Холла – или Мэйн-Холла (ныне, увы, Шейд-Холла), я увидел его, ожидавшего снаружи приезда г-жи Шейд. С минуту я стоял рядом, на ступеньках входного портика, натягивая палец за пальцем перчатки и посматривая в сторону, как бы готовясь к приему парада. «За совесть стараетесь», – заметил поэт. Он взглянул на часы. На них упала снежинка. «Кристалл на хрусталь», – сказал Шейд. Я предложил подвезти его домой на моем мощном «крэмлере». «Жены забывчивы, г-н Шейд». Он вскинул лохматую голову и посмотрел на часы на здании библиотеки. Через широкий унылый пустырь покрытого снегом газона, смеясь и скользя, шли два сияющих румянцем юнца в цветистых зимних одеждах. Шейд вновь посмотрел на свои часы и, пожав плечами, принял мое предложение.

Я спросил, не будет ли он возражать, если мы поедем кружным путем, через центр университетского поселка, где я хотел купить печенья в шоколаде и немного икры. Он сказал, что ничего не имеет против. Изнутри супермаркета, сквозь цельное стекло окна, я видел, как мой старичок юркнул в винную лавку. Когда я воротился с покупками, он вновь сидел в машине, читая бульварную газетку, какую, по моим понятиям, ни один поэт не удостоит прикосновения. По уютной отрывке я понял, что на его тепло укутанной фигуре припрятана фляжка со спиртным. Когда мы въезжали в аллею гаража, к дому как раз подкатила Сибиλλα. Я вышел из машины в учтивом оживлении. «Раз уж мой муж не считает нужным представлять людей друг другу, – сказала она, – давайте сделаем это сами. Вы ведь доктор Кинбот, да? А меня зовут Сибилла Шейд». Затем она обратилась к мужу, говоря, что он мог бы подождать ее лишнюю минуту в кабинете: она-де и гудела, и кричала, и даже пошла наверх и т. д. Я повернулся, чтоб уйти, не желая оказаться свидетелем семейной сцены, но она окликнула меня: «Выпейте с нами, – сказала она, – то есть, скорее, со мной, потому что Джону запрещено прикасаться к спиртному». Я объяснил, что не могу долго задерживаться, ибо мне предстоит своего рода небольшой семинар на дому и тур настольного тенниса с парой прелестных близнецов и еще одним другим мальчиком, другим мальчиком.

С этих пор я все чаще и чаще видел моего знаменитого соседа. Вид, открывавшийся в одном из моих окон, обеспечивал меня постоянным первоклассным развлечением, в особенности когда я ожидал какого-нибудь позднего гостя. Пока ветви разделявших нас лиственных деревьев оставались обнаженными, со второго этажа моего дома мне было ясно видно окно гостиной Шейдов, и почти каждый вечер я мог наблюдать тихое качание обутой в шлепанец ноги поэта. Из чего можно было заключить, что он сидит с книгой в низком кресле, но ничего, кроме этой ноги и ее тени, ходившей вверх и вниз по стене в тайном ритме сосредоточенной мысли, в густом свете лампы, разглядеть не удавалось. Всегда в одно и то же время коричневый

сафьяновый шлепанец падал с одетой в шерстяной носок ноги, которая продолжала качаться, хотя и в несколько замедленном темпе. Было ясно, что надвигается время сна со всеми его страхами, что через несколько минут кончик ноги начнет нащупывать и теревить шлепанец, а затем исчезнет вместе с ним из золотого поля моего зрения, пересеченного черной перевязью ветки. А иногда в нем легко пробегала Сибилла Шейд, спеша и размахивая руками, как бы в припадке раздражения, и немного позднее возвращалась уже гораздо более медленным шагом, как будто простив мужу его дружбу с чудаковатым соседом. Но загадка ее поведения полностью разрешилась однажды вечером, когда, набрав их номер и наблюдая в то же время за окном, я волшебным образом заставил ее произвести весь цикл этих торопливых и вполне невинных движений, столь меня озадачивших.

Увы, моему душевному покою предстояло в скором времени быть нарушенным. Как только в академическом поселке поняли, что Джон Шейд ценит мое общество выше всех прочих, в меня полетели брызги густого яда зависти. От нашего внимания не ускользнуло ваше тихое хихиканье, дражайшая г-жа К., когда после нудной вечеринки в вашем доме я помог усталому старику-поэту найти галоши. Однажды мне случилось зайти в профессорскую факультета английской литературы в поисках журнала с фотографией королевского дворца в Онхаве, которую я хотел показать моему другу, когда услышал, как молодой преподаватель в зеленом бархатном пиджаке – из милосердия назову его Джеральд Эмеральд – небрежно ответил на какой-то вопрос секретаря: «Мне кажется, г-н Шейд уже ушел с Великим Бобром». Это правда, я высок ростом, и моя каштановая борода отличается густотой и глубиной оттенка, глупая кличка явно относилась ко мне, но не заслуживала внимания, и, спокойно взяв журнал с заваленного брошюрами стола, я удовольствовался тем, что на пути к выходу ловким движением пальцев распустил, проходя мимо Джеральда Эмеральда, его галстук бантом. А еще было утро, когда доктор Натточдаг, глава отделения, при котором я состоял, официальным тоном попросил меня присесть, закрыл дверь и, хмуро опустившись в свое вращающееся кресло, предложил мне «быть поосторожнее». В каком смысле поосторожнее? Некий юноша пожаловался консультанту. Боже правый, на что же он пожаловался? На то, что я критиковал посещаемый им курс литературы («глупейший обзор глупейших работ, преподаваемый глупейшей посредственностью»). Рассмеявшись в совершенном облегчении, я обнял милейшего Неточку и пообещал больше не шалить. Пользуюсь случаем послать ему привет. Он всегда относился ко мне с такой изысканной учтивостью, что я иной раз подумывал, не подозревает ли он того же, что Шейд, что знали наверняка только три человека – два попечителя и президент колледжа.

О, подобных инцидентов было множество. В скетче, разыгранном группой студентов театрального отделения, я был представлен в виде напыщенного женоненавистника с немецким акцентом, постоянно цитирующего Хаусмана и грызущего сырую морковь. А за неделю до смерти Шейда некая неистовая дама, в чьем клубе я отказался читать лекцию о «Халли-Валли» (как она выразилась, смешав чертог Одина с заглавием финского эпоса), сказала мне посреди продуктового магазина: «Вы удивительно неприятный человек. Не пойму, как вас выносят Джон и Сибилла» – и, выведенная из себя моей вежливой улыбкой, добавила: «Кроме того, вы сумасшедший».

Но позвольте мне прекратить этот перечень глупостей. Что бы там ни думали, что бы ни говорили, дружба Джона была мне полным возмещением. Эта дружба была еще драгоценнее для меня из-за нарочито скрываемой нежности, в особенности когда мы бывали не одни, из-за грубоватости, происходящей от того, что можно определить как достоинство души. Все его существо представляло собой маскарадный наряд. Внешний вид Джона Шейда так мало соответствовал роившимся в нем гармониям, что возникало желание отместить его как грубую личину или преходящую моду; ибо если мода романтической эпохи утончала мужественность поэта обнажением его привлекательной шеи, утончением профиля и отражением горного озера в его овальном взоре, барды нынешнего дня, благодаря, очевидно, большим возможностям

долголетия, выглядят как гориллы или стервятники. Лицо моего возвышенного соседа заключало в себе нечто способное даже нравиться взгляду, если бы оно было только львиным или только ирокезским; к несчастью, совмещая в себе то и другое, оно напоминало лишь лицо мясистого хогартовского пьяницы неопределенного пола. Его бесформенное тело, обильная седая грива густой шевелюры, желтые ногти его пухлых пальцев, мешки под тусклыми глазами – все это становилось понятным, только если рассматривалось как отбросы, элиминированные из его истинного существа теми же силами совершенствования, которые очищали и чеканили его стихи. Он сам себя погашал.

У меня есть одна его фотография, особенно мне дорогая. На этом цветном любительском снимке, сделанном в яркий весенний день моим бывшим приятелем, Шейд изображен опирающимся на крепкую трость, принадлежавшую некогда его тетке Мод (см. стих 86). На мне белая непромокаемая куртка, приобретенная в местном магазине спортивных товаров, и пара лиловых штанов родом из Канн. Моя левая рука наполовину поднята – не затем, чтобы хлопнуть Шейда по плечу, как это может показаться, но чтобы снять темные очки, до которых, однако, она так и не дотянулась в *той* жизни, жизни снимка; библиотечная книга, зажатая под моей правой рукой, – это трактат об одной земблянской разновидности гимнастики, которой я намеревался заинтересовать моего юного жильца, сделавшего эту фотографию. Неделий позже он обманул мое доверие, гнусно воспользовавшись моим отсутствием во время поездки в Вашингтон, вернувшись откуда я обнаружил, что он развлекался с огневолосой экстонской шлюхой, оставившей свои очески и вонь во всех трех ваннах. Разумеется, мы тотчас же расстались, и в просвет оконных занавесок я мог видеть негодника Боба, стоявшего довольно трогательно со своими волосами ежиком, с облупленным чемоданом и лыжами, которые я ему подарил, в ожидании товарища по клубу, чтобы навсегда с ним уехать. Я могу простить все, кроме измены.

Мы с Джоном Шейдом никогда не обсуждали мои личные невзгоды. Наша тесная дружба была на том высшем, исключительно интеллектуальном уровне, где человек отдыхает от эмоциональных горестей, а не делится ими. Мое восхищение им служило своего рода альпийским лечением. Глядя на него, я всегда испытывал возвышенное чувство изумления, в особенности в присутствии других людей, людей более низкого разряда. Это изумление усугублялось сознанием, что они не чувствуют того, что чувствую я, не видят того, что я вижу; что они воспринимают Шейда как нечто само собой разумеющееся вместо того, чтобы напиваться, если можно так выразиться, каждый нерв романтикой его присутствия. Вот он, говорил я себе, вот его голова, содержащая мозг иного сорта, чем синтетический студень, расфасованный в окружающие его черепа. Он смотрит с террасы (в доме профессора К. в тот мартовский вечер) на далекое озеро. Я смотрю на него. Я присутствую при уникальном физиологическом явлении: Джон Шейд воспринимает и претворяет мир, вбирая его и разлагая на составные элементы, меняя их местами и в то же время складывая про запас, чтобы в один непредугаданный день произвести органическое чудо, слияние образа и музыки, поэтическую строку. И я испытывал возбуждение того же рода, что в раннем детстве, в замке дяди, где я наблюдал через стол за фокусником, только что давшим фантастическое представление и теперь спокойно поглощавшим ванильное мороженое. Я смотрел на его пудренные щеки, на волшебный цветок в петлице, где он многократно менял окраску и теперь застыл в виде белой гвоздики, и в особенности на его чудесные текучие на вид пальцы, которые могли по желанию растворить ложку в солнечный луч простым верчением либо превратить тарелку в голубя, подбросив ее в воздух.

Именно таким внезапным мановением волшебства является поэма Шейда: мой седовласый друг, мой любимый старый фокусник всунул в шляпу колоду карточек – и вытряхнул оттуда поэму.

Обратимся же теперь к поэме. Надеюсь, что мое предисловие не вышло чересчур скудным. Прочие примечания, расположенные как построчный комментарий, наверное, удовле-

творяют самого требовательного читателя. Хотя эти примечания, согласно обычаю, помещены в конце поэмы, читателю рекомендуется просмотреть их в первую очередь, а уже затем, с их помощью, изучить поэму, перечитывая их, разумеется, по мере ознакомления с текстом, а покончив с поэмой, пожалуй, просмотреть их в третий раз для полноты картины. В подобных случаях я нахожу разумным во избежание канители постоянного перелистывания либо вырезать страницы и подколоть их к соответствующим местам текста, либо, что еще проще, приобрести два экземпляра книги с тем, чтобы поместить их бок о бок на удобном столе – не на тряском сооружении наподобие моего, на которое с риском водворена моя пишущая машинка, в этом убогом мотеле, с каруселью внутри и снаружи моей головы, за много миль от Нью-Уая.

Разрешите мне сказать, что без моих комментариев текст Шейда попросту лишен всякой человеческой реальности, ибо человеческая реальность такой поэмы, как эта, чересчур капризной и сдержанной для автобиографии, с пропуском многих содержательных строк, недуманно им отвергнутых, зависит полностью от реальности автора и его окружения, привязанностей и т. д. – реальности, дать которую могут только мои примечания. Мой дорогой поэт, по всей вероятности, не подписался бы под таким заявлением, но к добру ли, к худу ли, последнее слово остается за комментатором.

Чарльз Кинбот
19 октября 1959 г.
Сидарн, Ютана

Бледный огонь

Поэма в четырех песнях

Песнь первая

Я был тенью свиристого, убитого
Ложной лазурью оконного стекла;
Я был мазком пепельного пуха, — и я
Продолжал жить и лететь в отраженном небе.
И также я удваивал изнутри
Себя, лампу, яблоко на тарелке, —
Раздвинув занавески, скрывавшие ночь, я давал темному стеклу
Развесить над травой всю мебель,
И как было дивно, когда снег
10 Накрывал весь видный мне лужок и вздымался так,
Что кресло и кровать стояли в точности
На снегу, на этой хрустальной земле!

Снимите снова снегопад: каждая плывущая снежинка
Бесформенна и медленна, неустойчива и плотна,
Тусклая темная белизна на бледной белизне дня,
Среди абстрактных лиственниц в нейтральном свете.
И после: градации синевы,
Когда ночь сливает зрителя со зримым;
А поутру морозные алмазы
20 Изумлены: чьи это ноги в шпорах пересекли
Слева направо белую страницу дороги?
Слева направо читается шифр зимы:
Точка, стрелка назад; повторение:
Точка, стрелка назад... Фазаний след!
С полоскою вокруг шеи щеголь, рябчик облагороженный,
Обретший свой Китай позади моего дома.
Не в «Шерлок Холмсе» ли он был, тот, чьи
Следы повернутых вспять башмаков указывали назад?

Всякий цвет мог радовать меня: даже серый.
30 Мои глаза в буквальном смысле
Фотографировали. Как только я позволял
Или, в безмолвном трепете, повелевал,
Все, бывшее в поле моего зрения, —
Домашняя ли сценка, листья карики или стройный
Стилет застынувшей капли, —
Все запечатлевалось на исподе моих век,
Где сохранялось час-другой,
И пока это длилось, мне стоило
Закрывать глаза, чтоб воспроизвести листву,

40 Домашнюю сценку или трофеи стрех.

Я не пойму, почему прежде с озера
Я мог различить наше крыльцо, идя
Озерной дорогой в школу, а нынче, хотя ни единое дерево
Не застит вида, я всматриваюсь и не разгляжу
Даже крыши. Возможно, что какой-то сдвиг в пространстве
Произвел складку или борозду, сместившую
Этот хрупкий вид, дощатый дом между
Гольдсвортом и Вордсмитом, на квадрате зелени.

У меня там была любимая молодая кария
50 С крупными темно-нефритовыми листьями и черным,
щуплым,
Источенным бороздками стволом. Закатное солнце
Бронзировало черную кору, по которой, как развившиеся
Гирлянды, спадали тени ветвей.
Теперь она крепка и шершава, хорошо разрослась.
Белые бабочки становятся бледно-лиловыми, когда
Пролетают в ее тени, где как будто тихо покачивается
Призрак качелей моей маленькой дочери.
Сам дом почти не изменился. Одно крыло
Мы обновили. Здесь солярий. Здесь
60 Видовое окно обставлено затейливыми креслами.
Огромная скрепка телеантенны блестит на месте
Негнувшегося флюгера, который часто посещал
Наивный и воздушный пересмешник.
Он пересказывал все слышанные им программы,
Переходя с *чиппо-чиппо* на ясное
Ту-уи, ту-уи, потом на хриплое: *приди*,
Приди, при-пррр; вскидывая кверху хвост
Или изящно предаваясь легким
Прыжкам вверх-вниз и тотчас же (*ту-уи*),
70 Садясь на свой насест – на новую антенну.
Я был дитя, когда умерли мои родители.
Оба были орнитологи. Я так часто
Пытался их вообразить, что ныне
У меня тысяча родителей. Как грустно они
Тают в собственных добродетелях и удаляются,
Но иные слова, случайно услышанные или прочитанные, —
Такие как «больное сердце» – всегда относятся
К нему, а «рак поджелудочной железы» – к ней.
Любитель прошлого: собиратель остывших гнезд.
80 Здесь была моя спальня, отведенная теперь гостям.
Здесь, уложенный в постель горничной-канадкой,
Я прислушивался к жужжанию голосов внизу и молился,
Чтобы все всегда были здоровы,
Дядя и тетки, горничная, ее племянница Адель,
Видавшая Папу, люди в книжках и Бог.

Меня воспитала милая эксцентричная тетушка Мод,
Поэтесса и художница со склонностью
К конкретным предметам вперемежку
С гротескными разрастаниями и образами смерти.
90 Она дожила до крика нового младенца. Ее комнату
Мы оставили нетронутой. Там все мелочи
Складываются в натюрморт в ее стиле: пресс-папье
Из выпуклого стекла с лагуной внутри,
Книга стихов, открытая на оглавлении (Мавр,
Месяц, Мораль), грустящая гитара,
Человеческий череп; и из местной «Стар»
Курьез: «Красные носки» победили «Янки»¹ 5:4
Гомером Чэпмена² – приколотый кнопками к двери.

Мой Бог умер молодым. Богопоклонство я находил
100 Унизительным, а доказательства – неубедительными.
Свободному не нужен Бог – но был ли я свободен?
Как полно я ощущал природу прилепленной ко мне,
И как мое детское небо любило
Полурыбный-полумедовый вкус этой золотой пастилы!

Книжкой картинок мне в ранние годы служил
Расписной пергамент, которым оклеена наша клетка:
Лиловато-розовые кольца вокруг луны, кроваво-оранжевое
солнце,
Двойная Ирида и это редкое явление —
Ложная радуга, – когда, прекрасное и странное,
110 В ярком небе над горной грядой одинокое
Овальное опаловое облачко
Отражает радугу, следствие грозы,
Разыгранной где-то в далекой долине, —
Ибо мы заключены в искуснейшую клетку.
А еще есть стена звуков, еженощная стена,
Возводимая осенью триллионом сверчков.
Непроницаемая! На полпути к вершине холма
Я останавливался, заповоленный их иступленной трелью.
Вот свет у доктора Саттона. Вот Большая Медведица.
120 Тысяча лет тому назад пять минут равнялось
Сорока унциям мелкого песка.
Переглядеть звезды. Вечность впереди
И вечность позади: над твоей головой
Они смыкаются, как гигантские крылья, и ты мертв.

Обычный мещанин, я полагаю,
Счастливее: он видит Млечный Путь,
Лишь выйдя помочиться. Тогда, как и теперь,

¹ Две бейсбольные команды.

² Термин в бейсболе. **Чэпмен** – знаменитый переводчик Гомера.

Я шел за собственный свой страх и риск – иссеченный ветвями,
Подкарауленный подножкой пня. Хромой и толстый астматик,
130 Я никогда не бил мячом об землю на бегу и никогда не заносил
биты.

Я был тенью свиристеля, убитого
Мнимой далью оконного стекла.
Имея мозг, пять чувств (одно неповторимое),
В остальном я был лишь неуклюжим монстром.
Во сне я играл с другими детьми,
Но, по правде, не завидовал ничему – разве что
Чуду лемнискаты, отпечатанной
На влажном песке небрежно-проворными
Шинами велосипеда.
Шинами велосипеда. Нить тончайшей боли,
140 Натягиваемая игривой смертью, ослабляемая,
Не исчезающая никогда, тянулась сквозь меня.
Однажды,
Когда мне минуло одиннадцать и я лежал
Ничком, следя, как заводная игрушка —
Жестяная тачка, толкаемая жестяным мальчиком,
Обогнула ножки стула и ушла под кровать,
В голове моей вдруг грянуло солнце,

А затем – черная ночь. Великолепная чернота;
Я ощущал себя распределенным в пространстве и во времени:
Одна нога на горной вершине, одна рука
150 Под галькой пытящего побережья.
Одно ухо в Италии, один глаз в Испании,
В пещерах моя кровь, и мозг мой среди звезд.
Глухое биение было в моем триасе, зеленые
Оптические пятна в верхнем плейстоцене,
Ледяная дрожь вдоль моего каменного века,
И в нерве локтевом все завтрашние дни.

В течение одной зимы я, каждый день после полудня,
Погружался в этот мгновенный обморок.
Потом прошло. Почти не вспоминалось.
160 Мое здоровье улучшилось. Я даже научился плавать.
Но, как мальчонка, принужденный шлюхой
Невинным языком утолять ее гнусную жажду,
Я был развращен, напуган, завлечен,
И, хотя старый доктор Кольт объявил меня исцеленным
От недуга, по его словам сопутствующего росту,
Изумление длится, и не проходит стыд.

Песнь вторая

В моей безумной юности была пора,
Когда я почему-то подозревал, что правда
О посмертной жизни известна
170 Всякому – один лишь я
Не знаю ничего, и великий заговор
Книг и людей скрывает от меня правду.
Был день, когда я начал сомневаться
В здравомыслии человека: как мог он жить,
Не зная, что за рассвет, что за смерть, что за рок
Ожидает сознание за гробом?

И наконец, была та бессонная ночь,
Когда я принял решение исследовать ее и биться
С этой подлой, недопустимой бездной,
180 Посвятив всю мою исковерканную жизнь этому
Единому заданию. Ныне мне шестьдесят один год. Свиристели
Поклевывают ягоды. Звенит цикада.

Маленькие ножницы в моей руке —
Ослепительный синтез солнца и звезды.
Я стою у окна и подрезаю
Ногти, и смутно сознаю уподобления, от коих
Шарахается их предмет: большой палец —
Сын нашего лавочника; указательный, худой и мрачный —
Колледжский астроном Стар-Овер Блю;
190 Средний – знакомый мне высокий священник;
Женственный безымянный палец – старая кокетка;
И розовый мизинчик, прильнувший к ее юбке.
И я кривлю рот, подрезая тонкие кожицы,
«Шарфики», как называла их тетка Мод.

Мод Шейд было восемьдесят лет, когда внезапная тишь
Пала на ее жизнь. Мы видели, как гневный румянец
И судорога паралича искажали
Ее благородные черты. Мы перевезли ее в Пайндейл,
Известный своим санаторием. Там она сживала
200 На застекленном солнце и следила за мухой, садившейся
Ей то на платье, то на кисть руки.
Ее рассудок блекнул в густеющем тумане.
Она еще могла говорить. Она медлила, нащупывала и находила
То, что сначала казалось годным звуком,
Но самозванцы из соседних келий занимали
Место нужных слов, и вид ее
Выражал мольбу, меж тем как она тщетно пыталась
Урезонить чудовищ своего мозга.

Какой момент при постепенном распаде
210 Избирает воскресение? Какие годы? Какой день?
Кто держит секундомер? Кто перематывает ленту?
Везет ли менее иным, иль ускользают все?
Вот силлогизм: *другие люди умирают, но я*
Не другой; поэтому я не умру.
Пространство есть роение в глазах, а время —
Звон в ушах. И в этом улье я
Заперт. Но *если бы* до жизни
Нам удалось ее вообразить, то каким безумным,
Невозможным, невыразимо диким, чудным вздором
220 Она нам показаться бы могла!

Зачем же разделять вульгарный хохот? Презирать
Загробный мир, чьего существования нельзя проверить?
Рахат-лукум турецкого рая, будущие лиры, беседы
С Сократом и Прустом в кипарисовых аллеях,
Серафима с шестью фламинговыми крылами,
Фламандский ад с его дикобразами и прочим?
Беда не в том, что нам снится слишком необычайный сон:
А в том, что мы его не можем сделать
Достаточно невероятным: все, что можем мы
230 Придумать, — это только домашнее привидение.

Как смехотворны эти попытки перевести
На свой особый язык всеобщую судьбу!
Вместо божественно лаконичной поэзии —
Бессвязные заметки, подлые стишки бессонницы!

Жизнь — это весть, нацарапанная впотьмах.
Без подписи.
Без подписи. Подмеченный на сосновой коре,
Когда мы шли домой в день ее смерти, —
Прильнувший к стволу пустой изумрудный футлярчик,
Плоский и пучеглазый, и в пару к нему
240 Увязший в смоле муравей.
Увязший в смоле муравей. Тот англичанин в Ницце,
Гордый и счастливый лингвист: *je pourtis*
*Les pauvres cigales*³ — хотел сказать, что он
Кормит бедных чаек⁴!
Кормит бедных чаек! Лафонтен неправ:
Мандибула мертва, а песнь живет.

И вот я подстригаю ногти, и раздумываю, и слышу
Твои шаги наверху, и все как быть должно, моя дорогая.

³ Я кормлю бедных цикад (Крылов перевел «стрекоза» вместо «цикада»).

⁴ Чайка по-английски «sea gull».

Сибилла, во все наши школьные дни я сознавал
Твою прелесть, но влюбился в тебя
На пикнике выпускного класса
250 У Нью-Уайского водопада. Мы завтракали на сырой траве.
Наш учитель геологии обсуждал водопад.
Рев воды и радужная пыль
Сообщали романтизм прирученному парку.
Я полулежал
В апрельской дымке прямо позади
Твоей стройной спины и смотрел, как твоя гладкая головка
Склонялась набок. Одна ладонь с вытянутыми пальцами
Опиралась на траву меж звездой триллиума и камнем.
Маленькая косточка сустава
Подрагивала. Потом ты обернулась и подала мне
260 Наперсток яркого металлического чая.

Твой профиль не изменился. Блестящие зубы,
Покусывающие осторожную губу; тень под
Глазами от длинных ресниц; персиковый пушок,
Окаймляющий скулу; темно-коричневый шелк
Волос, зачесанных кверху от висков и затылка;
Очень голая шея; персидский очерк
Носа и бровей – ты все это сохранила;
И в тихие ночи мы слышим водопад.

Приди и дай поклоняться себе, приди и дай себя ласкать,
270 Моя темная, с алой перевязью, Vanessa, моя благословенная,
Моя восхитительная atalanta! Объясни!
Как ты могла в сумраке Сиреневого переулка
Дать неуклюжему, истеричному Джону Шейду
Мусолить тебе лицо, и ухо, и лопатку?

Мы сорок лет женаты. По крайней мере
Четыре тысячи раз твоя подушка была измята
Обоими нашими головами. Четыреста тысяч раз
Высокие часы хриплым вестминстерским боем
Отметили наш общий час. Сколько еще
280 Даровых календарей украсят собой кухонную дверь?

Я люблю тебя, когда ты стоишь на траве,
Вглядываясь в листву дерева: «Оно исчезло.
Такое маленькое. Оно, может быть, вернется» (все это
Шепотом нежнее поцелуя).
Я люблю тебя, когда ты зовешь меня полюбоваться
Розовым следом реактивного самолета над пламенем заката.
Я люблю тебя, когда ты напеваешь, укладывая
Чемодан или фарсовый одежный мешок с круговой
Застежкой-молнией. А всего сильнее, я люблю тебя,

290 Когда задумчивым кивком ты приветствуешь ее призрак,
Держа на ладони ее первую игрушку или глядя
На открытку от нее, найденную в книге.

Она бы могла быть тобою, мной или забавной смесью:
Природа выбрала меня, чтоб вырвать и истерзать
Твое сердце – и мое. Сперва мы, улыбаясь, говорили:
«Все маленькие девочки – толстушки» или «Джим Мак-Вей
(Наш окулист) исправит эту легкую
Косинку в два счета». И позднее: «Она будет совсем
Хорошенькой, поверь»; и, пытаясь утишить
300 Нарастающую муку: «Это неловкий возраст».
«Ей надо», говорила ты, «учиться ездить верхом»
(Избегая встретить взглядом мой взгляд). «Ей надо играть
В теннис или в бадминтон. Меньше крахмала, больше фруктов!
Может быть, она и не красotka, но мила».

Все было зря, все было зря. Награды, полученные
За французский и историю, доставляли, конечно, радость;
Рождественские игры бывали, конечно, грубоваты,
И одна застенчивая маленькая гостя могла оказаться
исключенной;
Но будем справедливы: меж тем как дети ее лет

310 Представляли эльфов и фей на сцене,
Которую *она* помогла расписать для школьной пантомимы,
Моя кроткая девочка изображала Мать-Время,
Сгорбленную уборщицу с помойным ведром и метлой,
И, как дурак, я рыдал в уборной.
Еще одна зима была выскреблена, вычерпана до конца.
Весенние белянки появились в мае в наших лесах.
Лето было выкошено механическими косилками, и осень
сожжена.

Увы, гадкий лебеденок так и не превратился
В многоцветную лесную утку. И опять твой голос:
320 «Но это предрассудок! Будь доволен,
Что она невинна. Зачем преувеличивать
Физическую сторону? Ей *нравится* быть чуелом.
Девственницы писали *блистательные* книги.
Иметь роман – это не все в жизни. Красота
Не *столь* необходима!» А старый Пан
По-прежнему взывал со всех цветных холмов,
И по-прежнему не умолкали демоны нашей жалости:
Ничьи губы не разделят помады на ее папиресе;
Телефон, звонящий перед балом

330 Каждые две минуты в Сороза-Холле,
Никогда не зазвонит для нее; и, с оглушительным
Скрежетом шин по гравии, к воротам,
Из отполированной ночи, в белом кашне поклонник

Никогда не заедет за ней; она никогда не пойдет,
Мечтой из тюля и жасмина, на этот бал.
Мы, однако, послали ее в шато во Франции.

Она вернулась в слезах, после новых поражений,
С новыми горестями. В те дни, когда все улицы
Колледж-Тауна вели на футбольный матч, она сидела
340 На ступеньках библиотеки, читала или вязала;
По большей части одна или с милой,
Хрупкой подругой, ныне монахиней; и, раз или два,
С корейским студентом, который слушал мой курс.
У нее были странные страхи, странные фантазии, странная сила
Характера, – так, однажды она провела три ночи,
Исследуя какие-то звуки и огоньки
В старом амбаре. Она оборачивала слова: кот, ток,
Ропот, топор. А «колесо» было «оселок».
Она звала тебя «кузнечик-поучитель».
350 Она улыбалась очень редко, и только
В знак боли. Она с ожесточением
Критиковала наши планы и, без выражения
В глазах, сидела на несделанной постели,
Расставив опухшие ноги, чесала голову
Псориазными пальцами и стонала,
Моноotonно бормоча жуткие слова.

Она была моей душенькой – трудной, угрюмой,
Но все же моей душенькой. Ты помнишь те
Почти безмятежные вечера, когда мы играли
360 В маджонг или она примеряла твои меха, делавшие
Ее почти привлекательной, и зеркала улыбались,
Свет был милосерден, тени мягки.
Иногда я помогал ей с латынью,
Или же она читала в своей спальне, рядом
С моим флюоресцентным логовом, а ты была
В своем кабинете, вдвое дальше от меня,
И время от времени я слышал оба голоса:
«Мама, что такое *grimpen*⁵?» «Что такое что?» «Grim Pen»⁶
Пауза, и твое осторожное объяснение. Потом опять
370 «Мама, что такое *chthonic*⁷?» ты объясняла и это,
Добавляя: «Хочешь мандарин?»
«Нет. Да. А что значит *sempiternal*⁸?»
Ты колеблешься. И я с энтузиазмом рычу
Ответ из-за стола, сквозь закрытую дверь.
Неважно, что она тогда читала

⁵ Взбираться.

⁶ Зловещее перо.

⁷ Хтонический.

⁸ Вековечный.

(какие-то фальшивые новейшие стихи, названные
В курсе английской литературы документом
«Ангаже и захватывающим», – до того, что это значило,
Никому не было дела); важно то, что эти три
380 Комнаты, *тогда* связанные тобой, ею и мной,
Теперь представляют триптих или трехактную пьесу,
Где изображенные события остаются навеки.

Мне кажется, она всегда питала слабую безумную надежду.
Я тогда только что закончил свою книгу о По́пе.
Джейн Дин, моя машинистка, предложила ей однажды
Познакомиться с ее двоюродным братом,
Питом Дином. Жених Джейн
Должен был отвезти их всех на своем новом автомобиле
Миль за двадцать в гавайский бар.
Они подобрали Пита в четверть
390 Девятого в Нью-Уае. Слякоть оледенила дорогу. Наконец
Они нашли намеченное место – как вдруг Пит Дин
Схватился за голову и воскликнул, что начисто
Забыл условленную встречу с товарищем,
Который угодит в тюрьму, если он, Пит, не приедет,
И так далее. Она сказала, что понимает.
После его ухода молодые люди постояли
Втроем перед лазурным входом.
Лужи были перечеркнуты неонами; и с улыбкой
Она сказала, что она будет *de trop* и предпочла бы
400 Вернуться домой. Друзья проводили ее
До остановки автобуса и ушли, но она, вместо того
Чтобы ехать домой, сошла в Локенхеде.
Ты вопросительно взглянула на запястье: «Восемь пятнадцать.
(Тут время раздвоилось.) Я включу». Экран
В своем пустом бульоне породил жизнеподобную муть,
И хлынула музыка.
И хлынула музыка. *Он бросил на нее один лишь
взгляд
И пронзил благожелательную Джейн смертоносным
лучом.*

Мужская рука провела от Флориды до Мэна
Кривые стрелы Эоловых войн.
410 Ты сказала, что позднее нудный квартет —
Два писателя и два критика – будет обсуждать
Судьбу поэзии на Восьмом канале.
С пируэтом выпорхнула нимфа, под белыми
Крутящимися лепестками, чтобы в весеннем обряде
Преклонить колени в лесу перед алтарем,
На котором стояли различные туалетные принадлежности.
Я поднялся наверх и правил гранку
И слушал, как ветер гоняет шарики по крыше.

*«Взгляни, как пляшет нищий, как поет
420 Калека»* – это явно отдает вульгарностью
Того абсурдного столетия. Потом раздался снизу твой зов
Мой нежный пересмешник.
Я поспел, чтобы услышать краткий отзвук славы
И выпить с тобой чашку чая: мое имя
Было упомянуто дважды, как обычно тотчас позади
(На один топкий шаг) Фроста⁹.
(На один топкий шаг) Фроста. *«Вы правда не против?
Я успею на экстонский самолет, потому что, знаете,
Если я не прибуду к полуночи с монетой...»*
А затем было нечто вроде кинопутешествия:
430 Диктор сквозь туман мартовской ночи,
Где издавека фары росли и приближались,
Как расширяющаяся звезда, доставил нас
К зеленому, индиговому и коричневатому морю,
Которое мы посетили в тридцать третьем году,
За девять месяцев до ее рождения. Сейчас оно было
Рябым и едва ли могло бы напомнить
Ту первую долгую прогулку, беспощадный свет,
Стаю парусов (один был голубой среди белых,
В странной дисгармонии с морем, а два были красные),
440 Человека в старом блейзере, крошившего хлеб,
Теснившихся, невыносимо громких чаек
И одинокого темного голубя, переваливающегося в толпе.

*«Это не телефон?» Ты прислушалась у двери.
Молчание. Подняла программу с пола.
Вновь фары сквозь туман. Не было смысла
Тереть стекло. Только часть белого забора
Да отсвечивающие дорожные знаки проходили, разоблаченные.*

*«А мы совсем уверены, что она поступает как надо?» спросила ты.
«Ведь это, в сущности, свидание с незнакомым».
450 Что ж, давай посмотрим предварительный показ
«Раскаяния»?
И, в полном спокойствии, мы позволили
Знаменитому фильму раскинуть свой зачарованный шатер,
Явилось знаменитое лицо, красивое и бездушное:
Полуоткрытые губы, влажные глаза,
На щеке «зернышко красоты», странный галлицизм,
И округлые формы, расплывающиеся в призме
Всеобщей похоти.
Всеобщей похоти. *«Пожалуй», она сказала,
«Я здесь сойду». «Это только Локенхед».
«Да, хорошо». Держась за поручень, она взгляделась
460 В призрачные деревья. Автобус остановился.**

⁹ Frost по-английски «мороз». Фамилия знаменитого американского поэта.

Автобус исчез.

Гром над джунглями. «Нет, только не это!»
Пэт Розовый, наш гость (антиатомная беседа).
Пробило одиннадцать. Ты вздохнула. «Боюсь,
Больше нет ничего интересного». Ты сыграла
В рулетку телестанций: диск вращался и щелкал.
Рекламы были обезглавлены. Мелькали лица.
Разинутый рот был вычеркнут посреди песни.
Кретин с бачками собрался было
Прибегнуть к пистолету, но ты его опередила.
470 Жовиальный негр поднял трубу. Щелк.
Твое рубиновое кольцо творило жизнь и полагало закон.
Ах, выключи! И пока обрывалась жизнь, мы увидали,
Как булабочная головка света сокращалась и умерла в черной
Бесконечности.
Бесконечности. *Из приозерной хижины*
Сторож, Отец-Время, весь седой и согбенный,
Вышел со своим встревоженным псом и побрел
Вдоль берега сквозь тростники. Он опоздал.

Ты кротко зевнула и поставила на место тарелку.
Мы слышали ветер. Мы слышали, как он неся и швырял
480 Ветками в стекло. Телефон? Нет.
Я помог тебе с посудой. Высокие часы
Продолжали крушить юный корень, старую скалу.
«Полночь», сказала ты. Что полночь молодым?
И внезапно праздничный блеск прошел
По пяти кедровым стволам, выступили пятна снега,
И патрульная машина на нашей ухабистой дороге
Остановилась с хрустом. Снимите, снимите снова!

Люди думали, что она пыталась пересечь озеро
В Локен-Неке, там, где азартные конькобежцы пересекают его
490 От Экса до Уая в особо морозные дни.
Другие полагали, что она могла сбиться с дороги,
Свернув налево от Бриджроуда; а иные говорят,
Что она покончила со своей бедной юной жизнью.
Я знаю. Ты знаешь.

То была ночь оттепели, ночь ветра
С великим смятением в воздухе. Черная весна
Стояла тут же за углом, дрожа
В мокром звездном свете, на мокрой земле.
Озеро лежало в тумане, с наполовину затонувшим льдом.
Смутная тень ступила с заросшего тростником берега
500 В похрустывающую, переглатывающую топь и пошла ко дну.

Песнь третья

*L'if*¹⁰, безжизненное древо! Твое великое «быть может», Рабле:
Le grand Peut-être, «Грандиозная патата»¹¹. I. P. H., мирской
Институт (Institute: I) Подготовки (Preparation: P)
К Потустороннему (Hereafter: H), или «ЕСЛИ», как мы
Называли его – великое если! – пригласил меня на семестр
Читать о смерти («преподавать Червя»,
Как мне писал президент Мак-Абер¹²).
Ты и я,
И она, совсем еще крошка, переехали из Нью-Уая
В Юшейд (Тень Тиса), в другом, выше расположенном, штате.
510 Я люблю высокие горы. От железных ворот
Ветхого дома, который мы там сняли,
Был виден снежный очерк, столь далекий и столь прекрасный,
Что оставалось лишь вздохнуть, как будто
Это могло помочь к ним приобщиться.
Это могло помочь к ним приобщиться. IPH
Был и ларвориум и фиалка:
Могила раннею весной Разума. И все же
Он упустил самую суть; он упустил
То, что всего важнее любителю былого;
Ибо мы умираем с каждым днем; забвение процветает
520 Не на сухих бедряных костях, а на налитых кровью жизнях,
И наши лучшие «вчера» – сегодня только куча сора,
Измятых имен, телефонных номеров и пожелтевших папок.
Готов я стать цветочком
Или жирной мухой, но никогда не позабыть.
И я отвергну вечность, если только
Печаль и нежность
Смертной жизни, страсть и боль,
Винного цвета хвостовой огонь уменьшающегося самолета
Близ Веспера; твой огорченный жест,
530 Когда ушли все папиросы, то, как
Ты улыбаешься собакам; след серебристой слизи,
Оставленный улиткой на каменной плите; и эти добрые чернила,
эта рифма,
Эта картотечная карточка, это тонкое резиновое кольцо,
Свивающееся в восьмерку, если уронишь —
Не предстоят новоумершим в небесах,
Хранимые годами в их твердых.
Хранимые годами в их твердых. Вместо этого
Институт считал, что, может быть, разумней

¹⁰ По-английски «если», по-французски «тис».

¹¹ Игра слов на французском «*peut-être*» и английском «*potato*» (картофель).

¹² *Macabre* – зловещий.

Не слишком много ожидать от рая:
Что если некому там встретить
540 Новоприбывших, нет ни приема, ни
Индоктринации? Что если вас кидают
В безбрежность пустоты, потерявшего ориентацию,
Оголенного духом, совершенно одинокого,
Не завершившего того, что начал,
В никому не ведомом отчаянии, с начавшим разлагаться телом,
Неудобораздеваемого, в будничном платье, —
Меж тем как ваша вдова лежит ничком на смутной постели, —
Сама, как смутное пятно в вашей растворяющейся голове!

Презирая всех богов, со включением большого «Б»,
550 IPH заимствовал периферийные осколки
Мистических прозрений и предлагал советы
(Янтарные очки, против затмения жизни),
Как не впасть в панику, пока тебя превращают в духа:
Бочком, скользя, как выбрать гладкую кривую и лететь, словно на
салазках,
Навстречу плотным предметам, проскальзывать сквозь них
Или давать другим сквозь вас передвигаться.
Как, задохнувшись в черноте, определить
Терру Прекрасную, ячейку яшмы, как
Сберечь рассудок в спирального типа пространствах.
560 Какие меры принимать в случае
Несуразного воплощения: что делать,
Если вдруг заметишь, что ты стал молодой и уязвимой жабой,
По самой середине проезжей дороги,
Или медвежонком под пылающей сосной,
Или книжным клещом в возрожденном богослове.

Время означает последовательность, а
Последовательность – переменность,
Поэтому безвременье не может не нарушить
570 Таблицы чувств. Советы мы даем,
Как быть вдовцу. Он потерял двух жен.
Он их встречает – любящих, любимых,
Ревнующих его друг к дружке. Время значит рост,
А рост не значит ничего в загробной жизни.
Лаская все такого же ребенка, жена с льняными волосами
Скорбит у незабвенного пруда, задумчивым наполненного небом,
И так же белокура, но в тени с рыжинкой в волосах, обняв колени,
ноги
На каменный поставив парапет, сидит на парапете
Другая, поднимая влажный взгляд
580 К непроницаемой туманной синеве.
С чего начать? Какую раньше целовать? Какую игрушку
Ребенку дать? Этот насупленный малыш,
Он знает ли о столкновении двух встречных

Машин, убившем бурной мартовскою ночью мать и дитя?
А та вторая любовь, с подъемом голым ног,
В черной юбке балерины, зачем на ней
Сережки из шкатулки первой?
И зачем скрывает она рассерженное юное лицо?
Ибо по снам мы знаем, как трудно
590 Говорить с милыми нам усопшими. Они не замечают
Нашей боязни, брезгливости, стыда —
Пугающего чувства, что они не точно те, что были.
Ваш школьный друг, убитый на далекой войне,
Не удивлен, увидя вас у своей двери,
И, полуразвязно, полумрачно,
Указывает на лужи в подвале своего дома.

А кто научит нас, какие мысли звать на смотр
В то утро, что застанет нас шагающими к стенке
Под режиссурой сатрапова наймита,
600 Павиана в мундире?
Мы будем думать о вещах, известных нам одним, —
Империях рифм, сказочных царствах интеграла,
Прислушиваться к дальним петухам и узнавать
На серой шершавой стенке редкий стенной лишайник,
И, пока нам связывают царственные руки,
Мы посмеемся над презренными, весело язвя
Ретивых кретинов,
И, шутки ради, плюнем им в глаза.

Не помочь также изгнаннику, старику,
610 Умирающему в мотеле с громким вентилятором,
Вертящимся в знойной ночи прерий,
Пока снаружи брызги разноцветного света
Доходят до его постели, как темные руки прошлого,
Дарящие самоцветы, и быстро приближается смерть.
Он задыхается и заклинает на двух языках
Туманности, ширящиеся в его легких.

Рывок, раскол – вот все, что можно предсказать.
Быть может, обретешь *le grand néant*; быть может,
Протянешься опять спиралью из глазка клубня.
620 Как ты заметила, когда мы проходили в последний раз
Близ института: «Право, я не вижу
Различия между этим учреждением и адом».

Мы слышали, как гоготали и фыркали сторонники кремации,
покуда
Могильщиков изобличал реторту,
Как помеху при рождении духов,
Мы все избегали критиковать религии.
Знаменитый Стар-Овер Блю рассмотрел роль

Планет как пристаней для душ.
Обсуждалась судьба зверей. Китаец дискантом
630 Разглагольствовал об этикете чайных церемоний
С предками и до какого восходить колена.
Я рвал в клочья фантазии Эдгара По
И разбираю детские воспоминания о странных
Перламутровых мерцаниях за гранью, недоступной взрослым.
Среди наших слушателей были молодой священник
И старый коммунист. ИРН мог, по крайней мере,
Соперничать с церковью и с партийной линией.

В позднейшие годы он захирел:
Буддизм укоренился. Медиум протащил контрабандой
640 Бледное желе и витающую мандолину.
Фра Карамазов, бормоча свое идиотское
Все позволено, пролез в иные классы;
И, во исполнение желания рыбки-зародыша в матке,
Стая фрейдистов потянулась к могиле.

Это безвкусное предприятие кое-чем помогло мне.
Я понял, что надо игнорировать при моем обследовании
Смертной бездны. И когда мы потеряли наше дитя,
Я знал, что не будет ничего: никакой самозванный
Дух не коснется клавиатуры сухого дерева, чтобы
650 Выстукать ее ласкательное имя; никакой призрак
Не встанет грациозно, чтобы нас
Приветствовать в темном саду, близ кари.

«Ты слышишь этот странный звук?»
«Это ставень на лестнице, мой друг».

«Этот ветер! Не спишь, так зажги и сыграй
Со мною в шахматы. Ладно. Давай».

«Это не ставень. Вот опять. В углу».
«Это усик веточки скребет по стеклу».

«Что там упало, с крыши скатясь?»
660 «Это старуха-зима свалилась в грязь».

«Мой связан конь. Как тут помочь?»

Кто мчится так поздно сквозь ветер и ночь?
Это горе поэта, это – ветер во всю свою мочь,
Мартовский ветер. Это отец и дочь.

Позднее наступили минуты, часы, целые дни, наконец,
Когда она отсутствовала из наших мыслей, так скоро
Бежала жизнь, эта мохнатая гусеница.

Мы поехали в Италию. Валялись на солнце
На белом пляже, с другими розовыми и коричневыми
670 Американцами. Прилетели обратно в свой городок.
Узнали, что сборник моих очерков *Неукротенный*
Морской Конь был «повсеместно восхваляем»
(За год разошлось триста экземпляров).
Вновь начались занятия, и на склонах, где
Вьются дальние дороги, был виден непрерывный поток
Автомобильных фар, возвращающихся к мечте
Об университетском образовании. Ты продолжала
Переводить на французский Марвеля и Донна.
То был год бурь: ураган
680 «Лолита» пронесся от Флориды до Мэна.
Марс рдел. Женились шахи. Шпионили угрюмые русские.
Лэнг сделал твой портрет. И как-то вечером я умер.

Клуб Крэшоу заплатил мне за то, чтоб я обсудил
«Чем Нам Важна Поэзия».
Я прочел мою проповедь, скучную, но краткую.
Когда я спешил уйти, чтоб избежать
Так называемый «период вопросов» в конце,
Один из тех придирчивых господ, которые посещают
Такие лекции только для того, чтобы сказать, что не согласны,
690 Поднялся и ткнул трубкой в мою сторону.

И тут оно случилось – приступ, транс
Или один из моих старых припадков.
В первом ряду сидел случайно доктор. Как по заказу.
Я упал к его ногам. Мое сердце перестало биться,
И несколько мгновений, как кажется, прошло,
Пока оно толкнулось и снова потащилось
По более решительному назначению.
Теперь прошу вас дать мне ваше полное внимание.
Я не могу сказать откуда, но я знал, что я переступил
700 Рубеж. Все, что я любил, было утрачено,
Но не было аорты, чтобы донести о сожалении.
Резиновое солнце после конвульсий закатилось —
И кроваво-черное ничто начало ткать
Систему клеток, сцепленных внутри
Клеток, сцепленных внутри клеток, сцепленных
Внутри единого стебля, единой темы. И, ужасающе ясно
На фоне тьмы высокий белый бил фонтан.
Я понимал, конечно, что он состоит
Не из наших атомов, что смысл того, что я видел,
710 Не наш был смысл. При жизни каждый
Разумный человек скоро распознает
Обман природы, и на глазах у него тогда
Камыш становится птицей, сучковатая веточка —
Гусеницей пяденицы, а голова кобры – большой,

Угрожающе сложенной ночницей. Но что касалось
Моего белого фонтана, то замещаемое им
Могло, как мне казалось, быть
Понятно только для обитателя
Этого странного мира, куда я лишь случайно забрел.

720 Но вот я увидел, как он растаял:
Хотя еще без сознания, я снова был на земле.
Мой рассказ рассмешил доктора.
Он усомнился, чтобы в состоянии, в котором
Он меня нашел, «можно было галлюцинировать
Или грезить в каком бы ни было смысле. Позже – возможно,
Но не во время самого коллапса.
Нет, мистер Шейд». Но, Доктор, я ведь был загробной тенью¹³!
Он улыбнулся: «Не совсем, всего лишь полутенью».

Все же я не уступал. В уме я продолжал
730 Переигрывать все, что было. Снова я сходил
С эстрады, и мне было странно, жарко,
Я видел, как тот субъект вставал, и опять я падал,
Не потому, что скандалист ткнул трубкой,
А, вероятно, потому, что срок настал
Толкнуться и затрястись дряблему дирижаблю,
Старому расшатанному сердцу.
От моего видения дуло правдой. Оно имело тональность,
Сущность и необычайность своей особой
Реальности. Оно *существовало*. Меж тем как проходило время,
740 Его бессменная вертикаль сияла победно.
Часто, раздраженный наружным блеском
Обыденщины и раздора, я обращался внутрь себя, и там,
На заднем плане души, стоял он,
«Старый Верный», как гейзер в Йеллостонском парке.
Его присутствие всегда дивно меня утешало.
Потом я как-то раз наткнулся на то,
Что показалось мне параллельным явлением.

Это была статья в журнале о некой госпоже З., чье сердце было
Возвращено к жизни массажем руки проворного хирурга.
750 Она рассказала репортеру о «Стране
За Пеленой», и рассказ заключал в себе
Намек на ангелов, и сверкание цветных
Окон, и тихую музыку, и кое-что
Из книги гимнов, и голос ее матери;
Но в конце она упомянула дальний
Ландшафт, туманный сад, и – дальше я цитирую:
«Вдали за садом, как будто через дым,
Я мельком разглядела высокий белый фонтан – и проснулась».

¹³ Напоминаю, что «шейд» по-английски значит «тень».

Если на неназванном острове капитан Шмидт
760 Видит нового зверя и ловит его
И если немного позднее капитан Смит
Привозит оттуда шкуру, то этот остров не миф.
Наш фонтан был указательным столбом и знаком,
Он объективно существовал во тьме,
Крепкий как кость, вещественный как зуб,
Почти банальный в своей мощной правде!
Статья была написана Джимом Коутсом.
Джиму я сразу написал. Получил от него ее адрес.
Проехал триста миль на запад, чтобы с ней поговорить.
770 Прибыл. Был встречен пылким мурлыканьем.
Увидел эти голубые волосы, веснущатые руки, восхищенный
Орхидейный вид – и понял, что попался.

«Кто упустил бы случай повстречать
Такого знаменитого поэта?» Как мило
Было, что я приехал! Я отчаянно пытался
Задать свои вопросы. Их отметили:
«В другой раз, как-нибудь, быть может». Журналист
Еще ей не вернул ее заметок. Не следует настаивать.
Она пичкала меня кэксом, все это превращая
780 В идиотский светский визит.
«Я не могу поверить», она сказала, «что вот это *вы!*
Мне так понравились ваши стихи в *Синем журнале*.
Те, что о Мон-Блоне. У меня есть племянница,
Которая поднялась на Маттерхорн. Вторую вещь
Я не могла понять. Я говорю о смысле.
А самый звук, конечно, – но я так глупа!»

Она и впрямь была. Я мог бы настоять. Я мог бы
Заставить ее рассказать мне больше
О Белом фонтане, который мы оба видели «за пеленой».
790 Но если (подумал я) упомянуть эту подробность,
Она набросится на нее, как на духовное
Родство, сакраментальные узы,
Мистически объединяющие нас,
И тотчас наши души б оказались
Сестра и брат, трепещущие на краю
Нежного кровосмешения. «Ну, – сказал я, – мне кажется,
Становится уж поздно...»
Становится уж поздно...» Заехал я и к Коутсу.
Он опасался, что засунул куда-то ее записки.
Он достал свою статью из стальной картотеки.
800 «Все точно. Я не менял ее стиля.
Одна есть опечатка, не то чтоб важная:
Гора, а не *фонтан*. Оттенок величавости».

Жизнь Вечная – на базе опечатки!
Я думал на пути домой: не надо ль принять намек
И прекратить обследование моей бездны?
Как вдруг был осенен мыслью, что это-то и есть
Весь настоящий смысл, вся тема контрапункта;
Не текст, а именно текстура, не мечта,
А совпадение, все перевернувшее вверх дном;
810 Вместо бессмыслицы непрочной – основа ткани смысла.
Да! Хватит и того, что я мог в жизни
Найти какое-то звено-зерно, какой-то
Связующий узор в игре,
Искусное сплетение частиц
Той самой радости, что находили в ней те, кто в нее играл.

Не важно было, кто они. Ни звука,
Ни беглого луча не доходило из их затейливой
Обители, но были там они, бесстрастные, немые,
Играли в игру миров, производили пешки
820 В единорогов из кости слоновой и в фавнов из эбена;
Тут зажигая жизнь долгую, там погашая
Короткую; убивая балканского монарха;
Заставляя льдину, выросшую на высоко летящем
Самолете, свалившись с неба,
Наповал убить крестьянина; пряча от меня ключи,
Очки иль трубку. Согласно эти
События и предметы с дальними событиями
И с предметами исчезнувшими. Узор творя
Из случайностей и возможностей.
830 В шубе, я вошел: Сибилла, я
Глубоко убежден – «Закрой, мой милый, дверь.
Как съездил?» Чудно – но важнее:
Я воротился, убежденный в том, что могу нащупать
Путь к некой – к некой – «Да, мой милый?» Слабой надежде.

Песнь четвертая

Теперь я буду следить за красотой, как никто
За нею не следил еще. Теперь я буду так вскрикивать,
Как не вскрикивал никто. Теперь я буду добиваться того, чего
никто
Еще не добивался. Теперь я буду делать то, чего никто не делал.
Кстати, об этом дивном механизме:
840 Я озадачен разницею между
Двумя путями сочинения: А, при котором происходит
Все исключительно в уме поэта, —
Проверка действующих слов, покамест он
Намыливает в третий раз все ту же ногу, и В,

Другая разновидность, куда более пристойная, когда
Он в кабинете у себя сидит и пишет пером.

В методе *B* рука поддерживает мысль,
Абстрактная борьба идет конкретно.
Перо повисает в воздухе, затем бросается вычеркивать
850 Отмененный закат или восстанавливать звезду
И таким образом физически проводит фразу
К слабому дневному свету, через чернильный лабиринт.

Но метод *A* – страдание! Вскоре мозг
Бывает заключен в стальной колпак из боли,
Муза в спецодежде направляет бурав,
Который сверлит и которого никакое усилие воли
Не может перебить, меж тем как автомат
Снимает то, что только что надел,
Или шагает бодро к лавке на углу
860 Купить газету, которую уже читал.

Почему это так? Не оттого ли, что
Без пера нет паузы пера
И нужно пользоваться тремя руками сразу,
Чтоб выбрать рифму,
Держать оконченную строчку перед глазами,
И в памяти – все сделанные пробы?
Или же развитие процесса глубже, в отсутствии стола,
Чтоб подкрепить поддельное и превознестъ халтуру?
Ибо бывают таинственные минуты, когда
870 Слишком усталый, чтобы вычеркивать, я бросаю перо;
Брожу – и по какому-то немому приказу
Нужное слово звенит и садится мне на руку.

Мое лучшее время – утро, мое любимое
Время года – разгар лета. Однажды я подслушал,
Как просыпался, между тем как половина меня
Еще спала в постели. Я вырвал дух свой на свободу
И догнал себя на лужке,
Где в листьях клевера лежал топаз зари
И Шейд стоял в ночной сорочке и одной туфле.
880 Тут я понял, что *эта* половина меня тоже
Крепко спала: и обе засмеялись, и я проснулся
В целости в постели, пока день разбивал свою скорлупку,
Малиновки ходили и останавливались, и на сырой, в алмазах,
Траве лежала коричневая туфля! Моя тайная печать,
Оттиск Шейда, врожденная тайна.
Миражи, чудеса, жаркое летнее утро.

Так как мой биограф может оказаться слишком степенным
Или знать слишком мало, чтобы утверждать, что Шейд

Брился в ванне, так вот: Брился в ванне, так вот: «Он соорудил
890 Приспособление из шарниров и винтов, стальную подпорку
Поперек ванны, чтобы держать на месте
Зеркало для бритья прямо против лица,
И, возобновляя пальцем ноги тепло из крана,
Сидел там, как король, и кровоточил, как Марат».

Чем больше я вешу, тем ненадежнее моя кожа;
Местами она до смешного тонка;
Так, возле рта: пространство между его уголком
И моей гримасой так и просит злого пореза.
Или эти брыля: придется как-нибудь мне выпустить на волю
900 Окладистую бороду, засевающую во мне.
Мое адамово яблоко – это колючий плод опунции:
Теперь я буду говорить о зле и об отчаянии, так,
Как никто не говорил. Пяти, шести, семи, восьми, —
Девяти раз недостаточно. Десять. Прощупываю
Сквозь землянику со сливками кровавое месиво
И нахожу, что колючий участок все так же колюч.

Я сомневаюсь в правдоподобии однорукого молодчика,
Который на телевизионных рекламах одним скользким взмахом
Расчищает гладкую тропу от уха до подбородка,
910 Обтирает лицо и с нежностью ощупывает кожу.
Я в категории двуруких педантов.
Как скромный Эфеб в трико ассистирует
Балерине в акробатическом танце, так
Моя левая рука помогает, держит и меняет позицию.

Теперь я буду говорить... Лучше любого мыла
То ощущение, на которое рассчитывают поэты,
Когда вдохновение и его ледяной жар,
Внезапный образ, самопроизвольная фраза
Пускают по коже тройную зыбь,
920 Заставляя все волоски вставать дыбом,
Как на увеличенной одушевленной схеме
Косьбы бороды, вставшей дыбом благодаря
«Нашему Крему».

Теперь я буду говорить о зле, как никто
Не говорил еще. Я ненавижу такие вещи, как джаз,
Кретин в белых чулках, терзающий черного
Бычка, исполосованного красным, абстрактный bric-à-brac;
Примитивистские маски, прогрессивные школы,
Музыка в супермаркетах, бассейны для плавания,
Изверги, тупицы, филистеры с классовым подходом, Фрейд,
Маркс,
930 Ложные мыслители, раздутые поэты, шарлатаны и акулы.

И пока безопасное лезвие с хрустом и скрипом
Путешествует через страну моей щеки,
Автомобили проезжают по шоссе, и вверх по крутому
Склону большие грузовики ползут вокруг моей челюсти,
И вот причаливает безмолвный корабль, и вот – в темных очках —
Туристы осматривают Бейрут, и вот я вспахиваю
Поля старой Зембли, где стоит мое седое жнивье,
И рабы косят сено между моим ртом и носом.
Жизнь человека как комментарий к эзотерической
940 Неоконченной поэме. Записать для будущего применения.

Одеваясь во всех комнатах, я подбираю рифмы и брожу
По всему дому, зажав в кулаке гребешок
Или рожок для обуви, превращающийся в ложку,
Которой я ем яйцо. Днем
Ты отвозишь меня в библиотеку. Мы обедаем
В половине седьмого. И моя странная муза,
Мой оборотень, везде со мной,
В библиотечной кабинке, в машине и в моем кресле.
И все время, и все время, любовь моя
950 Ты тоже здесь, под словом, поверх
Слога, чтобы подчеркнуть и усилить
Насущный ритм. Во время оно, бывало, слышали
Шелест женского платья. Я часто улавливал
Звук и смысл твоей приближающейся мысли.
И все в тебе – юность, и ты обновляешь,
Цитируя их, старые вещи, сочиненные мной для тебя.

«Туманный залив» – была моя первая книга (свободным стихом);
За ней – «Ночной прибой»; потом «Кубок Гебы», моя последняя
колесница
В этом мокром карнавале, ибо теперь я называю
960 Все «Стихи» и больше не содрогаюсь.
(Но эта прозрачная штука требует заглавия,
Подобного капле лунного света.
Помоги, мне, Вильям! «Бледный огонь».)

Мирно проходит день под непрерывный
Тихий гул гармонии. Мозг выщежен,
Коричневый летунок и существительное, которое я собирался
Использовать, но не использовал, сохнут на цементе.
Быть может, моя чувственная любовь к *consonne d'appui*,
сказочному дитяти эхо,
Основана на чувстве фантастически спланированной,
970 Богато рифмованной жизни. Богато рифмованной жизни. Я
чувствую, что понимаю
Существование или, по крайней мере,
Мельчайшую частицу *моего* существования
Только через мое искусство,

Как воплощение упоительных сочетаний;
И если личная моя вселенная укладывается в правильную строчку,
То также в строчку должен уложиться стих божественных созвездий,
И он должен, я думаю, быть ямбом.
Я думаю, что не без основания я убежден, что жизнь есть после смерти
И что моя голубка где-то жива, как не без основания
980 Я убежден, что завтра, в шесть, проснусь
Двадцать второго июля тысяча девятьсот пятьдесят девятого года,
И что день будет, верно, погожий;
Дайте же мне самому поставить этот будильник,
Зевнуть и вернуть «Стихи» Шейда на их полку.

Но еще рано ложиться. Солнце доходит
До двух последних окон старого доктора Саттона.
Ему, должно быть, – сколько? Восемьдесят? восемьдесят два?
Он был вдвое старше меня в тот год, что мы женились.
Где ты? В саду. Я вижу
990 Часть твоей тени близ карики.
Где-то мечут подковы. Зиньк, звяк.
(Как пьяный, прислоняется к фонарному столбу.)
Темная «Ванесса» с алой перевязью
Колесит на низком солнце, садится на песок
И выставляет напоказ чернильно-синие кончики крыльев,
крапленые белым.
И сквозь приливающую тень и отливающий свет,
Человек, не замечая бабочки, —
Садовник кого-то из соседей – проходит,
Толкая пустую тачку вверх по переулку.

Комментарий

Строки 1–4: Я был тенью свиристея, убитого...

и т. д.

Образ в этих начальных строках явно относится к птице, разбившейся на полном лету о наружную поверхность оконного стекла, в котором отраженное небо, чуть темнее оттенком, с чуть замедленным облаком, представляет собой иллюзию продолжения пространства. Мы можем вообразить Джона Шейда в раннем отрочестве, наружностью неказистого, но во всех остальных отношениях прекрасно развитого юношу, испытывающим первое эсхатологическое потрясение, поднимая неуверенными пальцами с травы плотное овальное тельце и рассматривая красные, как бы восковые, полосы, украшающие серовато-бурые крылья и изящные рулевые перья, тронутые желтым на концах, ярким, как свежая краска. Когда в последние годы жизни Шейда я имел счастье быть его соседом среди идиллических холмов Нью-Уая (см. Предисловие), я часто видел именно этих птиц, весело питающихся синими, с меловым налетом, ягодами можжевельника, росшего на углу его дома (см. также строки 181–182).

Мое знакомство с садовыми Aves сначала ограничивалось северноевропейскими видами, но молодой нью-уайский садовник, к которому я проявил интерес (см. примечание к строке 998), научил меня определять по силуэтам целый рой маленьких чужестранок тропического типа и смешные их голоса; и естественно, каждая древесная верхушка намечала пунктирную линию к орнитологическому труду на моем письменном столе, к которому я, бывало, мчался галопом служка в номенклатурном возбуждении. Как трудно было мне приноровить имя «малиновка» к пригородной самозванке, жирной птице в неопрятной тускло-красной ливрее, поглощавшей с отвратительным смаком длинных, грустных безучастных червей!

Между прочим, любопытно отметить, что хохлатая птица, именуемая по-землянски *sampel* (шелкохвост), весьма похожая на свиристея контуром и окраской, послужила моделью для одного из геральдических животных (остальные два: северный олень, настоящий, и лазурный тритон, златогривый) в гербе землянского короля Карла Возлюбленного (р. 1915), злключения которого я столь часто обсуждал с моим другом.

Поэма была начата ровно посередине года, в первые минуты после полуночи 1 июля, пока я играл в шахматы с молодым иранцем, студентом нашей летней школы; и я не сомневаюсь, что наш поэт понял бы искушение, испытанное его комментатором, синхронизировать с этой датой роковой факт – отбытие из Зембли будущего цареубийцы Градуса. На самом деле Градус покинул Онхаву 5 июля на копенгагенском самолете.

Строка 12: на этой хрустальной земле!

Возможно, намек на Земблю, мою дорогую родину. После этого в бессвязном, наполовину стертом черновике, в правильной расшифровке которого мною я далеко не уверен:

Ах, только б описать я не забыл,
Что друг о некоем короле мне сообщил...

Увы, он мог бы сказать гораздо больше, если бы домашняя антикарлистка не контролировала каждую строчку, которую он ей показывал! Не раз я упрекал его в шутовском тоне: «Вы, право, должны были бы обещать мне использовать весь этот замечательный материал, мой нехороший седой поэт!» И мы оба хихикали, как мальчишки. Но затем после вдохновительной вечерней прогулки нам приходилось расставаться, и неумолимая ночь убирала подъемный мост между его неприступной крепостью и моим убогим жилищем.

Царствование этого короля (1936–1958) останется в памяти хотя бы нескольких проныцательных историков как период мира и грации. Благодаря гибкой системе благоразумных союзов хроника его царствования не была омрачена Марсом. Внутри страны Народное вече, или парламент, – пока в него не проникли коррупция, измена и экстремизм – действовало в полной гармонии с Королевским Советом. Гармония была поистине девизом этого царствования. Процветали изящные искусства и чистая наука. Технологии, прикладной физике, промышленной химии и т. п. позволялось преуспевать. В Онхаве неуклонно подрастал небольшой небоскребик из ультрамаринового стекла. Климат как будто улучшался. Налоговая система была предметом чистой красоты. Бедные понемножку становились богаче, а богатые – беднее (в соответствии с тем, что, возможно, будет когда-нибудь известно под названием Закона Кинбота). Медицинское обслуживание доходило до самых границ государства; все реже и реже во время осенних поездок по стране, когда рябины бывали увешаны тяжелыми кораллами, а на лужах позванивала слюда, прерывали приветливого и красноречивого монарха кашлеподобные припадки *backdraucht* в толпе школьников. Прыжки с парашютом сделали популярным видом спорта. Одним словом, все были довольны, даже политические бедокуры, которые с удовольствием бедокурили на деньги довольного Соседа (гигантской державы, граничащей с Земблей). Но оставим этот нудный предмет.

Вернемся к королю: возьмем, к примеру, вопрос индивидуальной культуры. Часто ли занимаются короли исследованиями в специальных областях знания? Конхиологов среди них можно перечесть по пальцам одной изувеченной руки. Последний король Зембли, отчасти под влиянием своего дяди Конмаля, великого переводчика Шекспира (см. примечания к строкам 39–40 и 962), несмотря на частые мигрени, страстно увлекался литературоведением. К сорока годам, незадолго до падения своего трона, он достиг такой высокой степени учености, что осмелился принять к исполнению хриплую предсмертную просьбу своего почтенного дядюшки: «Учи, Карлик!» Разумеется, монарху не подобало бы появляться на университетской кафедре в мантии ученого и преподавать розовощеким юнцам *Поминки по Финнегану* в качестве чудовищного продолжения «бессвязных трудов» Ангуса Мак-Диармида и *Lingo-Grande Саути* («милый Штумпарумпер» и т. д.) или обсуждать собранные Ходынским в 1798 году земблянские варианты *Kongs-skugg-sio* («Королевское зеркало»), анонимного шедевра 12 века. Поэтому он читал лекции под чужим именем, под густым гримом, в парике и с фальшивой бородой. Все темнобородые, скуластые, голубоглазые земблянцы похожи друг на друга, и я, уже с год не брившийся, похожу на моего переодетого короля (см. также примечание к строке 894).

Во время таких периодов преподавания Карл-Ксаверий положил себе за правило ночевать в *гарсоньерке*, которую он снял в Кориолановом переулке, как сделал бы любой ученый, – очаровательной холостяцкой квартирке с центральным отоплением, ванной и кухонькой. С ностальгическим удовольствием вспоминаешь теперь светло-серый бобрик на полу и жемчужно-серые стены (одна из них была украшена одинокой копией картины Пикассо *Chandelier, pot et casserole*), полку томиков стихов в переплетах из телячьей кожи и девственного вида диван-кровать под покрывалом из поддельного меха панды. Сколь далекими от этой прозрачной простоты казались дворец и ненавистная Палата Совета, с ее неразрешимыми проблемами и испуганными советниками!

Строка 17: И после: градации синевы;

Строка 29: Мог радовать (мо-град-овать)

По какому-то необычайному совпадению (может быть, неотъемлемо присущему контрапунктической природе искусства Шейда) поэт как будто называет здесь по имени (градации, г-рад) человека, которого ему предстояло лично увидеть на одно только роковое мгновение

тремя неделями позже, но о чьем существовании он в то время (2 июля) знать не мог. Йакоб Градус именовал себя по-разному: Джек Дегри, Жак де Грэ или Джеймс де Грей, а в полицейских досье он фигурирует еще как Равус, Рэвенстон и д'Аргюс. Питая болезненную слабость к здоровенной России советской эры, он утверждал, что настоящих корней его имени следует искать в русском слове «виноград», к которому пристал латинский суффикс, превративший его в Виноградус. Отец его, Мартын Градус, был протестантским пастором в Риге, но, кроме него и его дяди с материнской стороны (Роман Целовальников, полицейский пристав и по совместительству член эсеровской партии), весь их род занимался, по-видимому, винным промыслом. Мартын Градус скончался в 1920 году, а его вдова переехала в Страсбург, где также вскоре умерла. Мальчика усыновил и вырастил с собственными детьми другой Градус, эльзасский купец, который, как ни странно, не состоял с нашим убийцей ни в каком родстве, но в течение многих лет был связан делами и дружбой с его семейством. Одно время, по-видимому, молодой Градус изучал фармакологию в Цюрихе, а затем объезжал туманные виноградники в качестве бродячего дегустатора вин. Потом мы находим его втянутым в мелкую подрывную деятельность: печатание бранчливых брошюр, исполнение курьерских поручений для малоизвестных синдикалистских групп, организация стачек на стеклянных заводах и прочее в том же роде. Как-то в сороковых годах он приехал в Земблю в качестве коммивояжера по коньяку. Там он женился на дочери трактирщика. Его связь с экстремистской партией началась еще во времена ее первых уродливых корчей, и, когда разразилась революция, его скромный организаторский дар был оценен различными инстанциями. Его отъезд в Западную Европу с гнусным замыслом в сердце и заряженным пистолетом в кармане состоялся в тот самый день, когда безвинный поэт в безвинной стране начинал Песнь вторую «Бледного огня». Мы будем постоянно сопровождать Градуса в мыслях, пока он совершает путь из далекой Зембли в зеленую Аппалачию, на протяжении всей поэмы следуя путем ее ритма, проезжая мимо на рифме, выскакивая за угол переноса, дыша с цезурой, слетая прыжками к подножию страницы со строки на строку, как с ветки на ветку, прячась меж двух слов (см. примечание к строке 596), возникающая заново на горизонте новой песни, неуклонно приближаясь в ямбическом марше, пересекая улицы, поднимаясь с чемоданом на эскалаторе пятистопника, сходя с него, садясь в новый состав мыслей, проникая в вестибюль гостиницы, гася лампу на ночном столике, меж тем как Шейд вычеркивает слово, и засыпая, когда поэт откладывает на ночь свое перо.

Строка 27: Шерлок Холмс

Долговязый, с ястребиным носом, довольно симпатичный частный сыщик, главный персонаж рассказов Конан-Дойля. В настоящий момент я не имею возможности проверить, какой из них имеется здесь в виду, но подозреваю, что наш поэт попросту выдумал это «Дело о повернутых вспять башмаках».

Строка 35: Стиллет застынувшей капли Как упорно наш поэт вызывает образы зимы в начале поэмы, которую начал благоуханной летней ночью! Механизм ассоциации легко различим (стекло приводит к хрусталу, а хрусталь ко льду), но суфлер, скрытый за ним, остается неизвестным. Скромность мешает предположить, что на выбор сезона повлияло знакомство поэта с его будущим комментатором, происшедшее зимой. В прелестной строке, с которой начинается это примечание, читателю следует заметить последнее слово. В моем словаре оно определено как «последовательность капель, падающих с карниза». Помнится, я впервые встретил его в одном стихотворении Томаса Харди. Искристый мороз увековечил искристую каплю. Следует также заметить ослепительный намек «стройных стилетов», на блеск солнца – блеск стали, на тень плаща и кинжала и еще на тень царевубийства.

Строки 39–40: Закрывать глаза, и т. д.

Эти строки представлены в черновике вариантом:

...и воры поспешат мои домой
Солнце с похищенным льдом, месяц с листвою.

Нельзя не вспомнить строк из «Тимона Афинского» (акт IV, сцена 3), где этот мизантроп обращается к трем вора. За отсутствием библиотеки в моей одинокой избушке, где я живу подобно Тимону в пещере, я принужден – чтобы быстро процитировать – произвести обратный перевод этого места прозой с земблянкой стихотворной версии «Тимона», каковая, я надеюсь, достаточно близка к оригиналу или, по крайней мере, верна ему по духу:

Солнце – вор: оно завлекает море
и грабит его. Месяц – вор:
Он крадет у солнца свой серебристый свет.
Море – вор: оно растворяет месяц.

Для достойной оценки Конмалевых переводов Шекспира см. примечание к строке 962.

Строка 42: Я мог различить

К концу мая я мог различить очертания некоторых моих образов в той форме, которую придал бы им его гений; к середине июня я наконец почувствовал уверенность, что он воссоздает в поэме ослепительную Земблю, горевшую в моем мозгу. Я завораживал его, я пропитывал его моим видением, я навязывал ему с бесшабашной щедростью пьяницы все то, что сам не мог передать в стихах. Нелегко было бы сыскать в истории поэзии подобный случай: чтобы два человека, различных по происхождению, воспитанию, умственным ассоциациям, духовной тональности, окраске мысли, один – ученый-космополит, другой – домосед-поэт, заключили секретное соглашение такого рода. Наконец я понял, что он до краев полон моей Зембл – распираем нужными рифмами, готов прыснуть, лишь стоило моргнуть глазом. При всяком удобном случае я понуждал его преодолеть привычную лень и начать писать. В моем карманном дневничке имеются беглые записи такого содержания: «Присоветовал ему героический метр»; «пересказал еще раз побег»; «предложил располагать тихой комнатой в моем доме»; «обсудил возможность записывать мой голос для его нужд» и, наконец, под датой 3 июля: «Поэма начата!»

Хотя я, увы, понимаю слишком хорошо, что результат, в его бледной и прозрачной форме, не может быть сочтен за прямое эхо моего повествования (из коего, кстати, лишь несколько отрывков приведено в моих примечаниях, главным образом к Песни первой), вряд ли, однако, можно сомневаться в том, что закатное рдение этой истории подействовало как катализатор на самый процесс непрерывного творческого кипения, который позволил Шейду создать поэму в 1000 строк за три недели. Существует, помимо этого, симптоматическое семейное сходство между окраской поэмы и рассказом. Не без удовольствия перечел я мои комментарии к его строкам и в ряде случаев поймал себя на заимствовании некоего опалового отсвета пламенной сферы моего поэта, а также на бессознательном подражании прозаическому стилю его собственных критических статей. Но его вдова и коллеги могут оставить опасения и наслаждаться в полной мере плодами каких бы то ни было советов, которые они могли надавать моему добродушному поэту. О да, окончательный текст поэмы принадлежит полностью ему. Если отбросить, как это, по-моему, следует сделать, три мимолетных упоминания о короле (605, 822 и 894) и «Земблю» Попа в строке 937, мы можем заключить, что окончательный текст «Бледного огня» был намеренно и беспощадно очищен от всех следов предоставленного мной материала; но мы найдем также, что, несмотря на контроль, произво-

дившийся над моим поэтом его домашним цензором и Бог один знает, кем еще, он предоставил царственному беглецу приют в сокровищнице сохраненных им вариантов; ибо в его черновике не менее 13 стихов, великолепных певучих стихов (приведенных мной в примечаниях к строкам 70, 79 и 130, все в Песни первой, над которой он, по всей очевидности, работал с большей творческой свободой, чем это позволялось ему впоследствии), носят специфический отпечаток моей темы, мельчайший, но подлинный оптический призрак моего повествования о Земле и ее несчастном короле.

Строки 47–48: Дощатый дом между Гольдсвортом и Вордсмитом

Первое имя принадлежит дому на Дальвичском шоссе, который я снимал у Хью Воррена Гольдсворта, эксперта по римскому праву и известного судьи. Я никогда не имел удовольствия познакомиться с моим хозяином, но почерк его я изучил почти столь же хорошо, как почерк Шейда.

Второе название относится, конечно, к Вордсмитскому университету. Указывая на как будто срединное положение своего дома между этими двумя точками, наш поэт меньше заботится о пространственной точности, чем об остроумной перестановке слогов в именах двух мастеров героического куплета, между которыми он уютно устроил свою собственную музу. На самом же деле «дощатый дом на зеленом квадрате» находился в пяти милях к западу от Вордсмитского кампуса и всего в пятидесяти ярдах, или около того, от моих восточных окон.

В предисловии к настоящей работе я имел случай сказать кое-что о прелестях моего жилища. Обворожительная, обворожительно рассеянная дама (см. примечание к строке 691), снявшая его для меня без предварительного осмотра, несомненно имела наилучшие намерения, тем более что он вызывал в округе всеобщее восхищение своей «старосветской просторностью и уютом». В действительности же это был старый, унылый, бело-черный полудеревянный дом того типа, который в моей стране зовется *wodnaggen*, с резными коньками, со сквозняковыми панорамными окнами и так называемым «полублагородным» крыльцом, увенчанным безобразной верандой. У судьи Гольдсворта была жена и четыре дочери. Семейные фотографии встретили меня в прихожей и преследовали из комнаты в комнату, и хотя я уверен, что Альфина (9 лет), Бетти (10), Викки (12) и Грейс (14) превратятся в скором времени из ужасных смазливших школьниц в нарядных девиц и превосходных матерей, я должен признаться, их бойкие личики на фотографиях раздражали меня до такой степени, что я в конце концов собрал их все до единой и свалил в стенной шкаф под ряд виселиц, с их зимней одеждой в целлофановых саванах. В кабинете я нашел большой портрет их родителей: вопреки природному полу, г-жа Г. напоминала Маленкова, а г-н Г. – медузокудрую ведьму; я заменил их репродукцией любимого раннего Пикассо: земной мальчик, ведущий дождевую тучу – лошадь. Я, впрочем, не стал слишком заниматься их семейными книгами, которые попадались во всех углах дома: четыре разных комплекта детских энциклопедий, а также одна вялая энциклопедия для взрослых, которая поднималась вверх с полки на полку на всем протяжении лестницы, чтобы на чердаке прорвать аппендикс. Судя по романам в будуаре г-жи Гольдсворт, ее умственные интересы были развиты полностью, от «Амбры навеки» до «Японского Дзэна». Глава этой алфавитной семьи также имел библиотеку, но она состояла главным образом из юридических трудов и множества гроссбухов, снабженных отчетливыми литерами. Все, что неспециалисту могло пригодиться для поучения и развлечения, был переплетенный в сафьян альбом, в который судья с любовью наклеивал жизнеописание и портреты людей, отправленных им в тюрьму или приговоренных к смертной казни; незабвенные лица слабоумных хулиганов, последние затяжки и последние ухмылки, совершенно обыкновенные на вид руки душиителя, собственного производства вдова, тесно посаженные беспощадные глаза маниакального убийцы (признаюсь, несколько похожего на покойного Жака д'Аргюса), умненький малыш-отцеубийца 7 лет («Ну-ка, сынок, скажи нам...») и грустный, невысокий, толстый старый пед-

раст, который взорвал на воздух своего шантажиста. Меня несколько удивило, что именно он, мой ученый домохозяин, а вовсе не его благоверная занимался домашним хозяйством. Он не только оставил мне подробный инвентарь всех предметов, что теснятся вокруг нового жилья, как толпа враждебных туземцев, но также затратил массу труда на выписку на клочках бумаги рекомендаций, объяснений, предписаний и дополнительных списков. Чего бы я ни коснулся в первый день моего пребывания, все наделяло меня образчиком Гольдсвортианы. Я отпер аптечный шкафчик во второй ванной, и оттуда выпорхнуло предостережение, что паз для использованных безопасных лезвий слишком полон, чтобы можно было им пользоваться. Я открыл ледник, и он с лаем предупредил меня, что в него не следует помещать «изделия национальной кухни с трудновыводимым запахом». Я выдвинул средний ящик письменного стола в кабинете и обнаружил un catalogue raisonné его скудного содержания, заключавшего в себя ассортимент пепельниц, дамасский разрезательный нож (описанный как «один старинный кинжал, привезенный отцом г-жи Гольдсворт с Востока») и старый, но неиспользованный карманный дневник, оптимистически созревающий там, пока не повторятся его календарные соответствия. Среди множества подробных заметок, приколотых к специальной доске в кладовой, вроде водопроводных руководств, диссертаций по электричеству, трактатов о кактусах и т. п., я нашел диету черного кота, принадлежавшего к дому.

пон., ср., пят.: печенка
втор., четв., субб.: рыба
воскр.: рубленое мясо.

(У меня он получал только молоко и сардинки; это было милое маленькое создание, но вскоре его передвижения стали действовать мне на нервы, и я его поместил на иждивение к г-же Финли, поденщице.) Но, может быть, самая смешная записка относилась к манипуляции оконных портьер, которые следовало затягивать различным образом в различные часы, чтобы предотвратить действие солнечных лучей на обивку мебели. Для каждого окна было описано положение солнца по дням и временам года, и, если бы я принял все это к исполнению, я был бы столь же занят, как участник регаты. Впрочем, в сноске великодушно предлагалось заменить управление занавесками тем, чтобы отодвигать и убирать за пределы достижения солнечных лучей самые ценные предметы обстановки (два вышитых кресла и тяжелый резной стол «королевская консоль»), но это следовало делать осторожно, чтобы не поцарапать стенного карниза. Я не могу, увы, воспроизвести точный порядок этих перестановок, но, кажется, припоминаю, что мне следовало рокироваться в длинную сторону перед тем, как лечь спать, а с утра пораньше – в короткую. Мой милый Шейд рычал от хохота, когда я водил его на осмотр и давал ему самому находить иные из этих пасхальных яиц. Слава Богу, его здоровая веселость рассеяла атмосферу *damnum infectum*, в которой мне полагалось бы пребывать. В свою очередь, он попотчевал меня целым рядом анекдотов о сухом юморе судьи и его манере держаться в суде; большинство историй были несомненно фольклорными преувеличениями, некоторые – очевидными выдумками, и все они были вполне безобидными. Он никогда не упоминал, мой милый старый друг, нелепых рассказов о страшной тени, падавшей от мантии судьи Гольдсворта на преступный мир, или о той или другой зверюге, буквально помиравшей в тюрьме от *raghdirst* (жажды мести) – пошлых рассказней, распускаемых бесстыдными и бессердечными людьми, всеми теми, для кого романтика, даль, багровые небеса, подбитые тюленьим мехом, темнеющие дюны баснословного королевства попросту не существуют. Но довольно об этом. Вернемся к окнам нашего поэта. У меня нет желания сгибать и раздувать незатейливый *apparatus criticus* в чудовищное подобие романа.

Ныне мне было бы невозможно описать дом Шейда в архитектурных терминах, да и в каких бы то ни было других, кроме терминов подглядывания и высматривания и обрамленных

окнами okazji. Как было упомянуто ранее (см. Предисловие), с приходом лета возникло оптическое затруднение: назойливая листва часто расходилась со мной во взглядах; она принимала зеленый монокль за непроницаемую преграду, а идею защиты за препятствия. Тем временем (3 июля по моему календарю) я узнал – не от Джона, а от Сибиллы, – что мой друг начал работу над длинной поэмой. Не видав его дня два, я понес ему было третьеразрядную почту из его почтового ящика на улице, соседствовавшего с гольдсвортовским (который я игнорировал, так как он был битком набит разными листовками, местной рекламой, каталогами и тому подобным мусором), и наткнулся на Сибиллу, которую кустарник скрывал от моего соколиного ока. В соломенной шляпе и садовых перчатках, она сидела на корточках перед клумбой и что-то полола или подвязывала, и ее коричневые в обтяжку штаны напомнили мне мандолиновидное трико (как я в шутку его называл), которое носила моя собственная жена. Она сказала не беспокоить его этими объявлениями и добавила, что он «начал настоящую большую поэму». Я почувствовал прилив крови к лицу и пробормотал, что он до сих пор ничего мне не показывал, а она выпрямилась, отбросила со лба черные с проседью волосы, уставилась на меня и сказала: «О чем вы говорите – не показывал? Он никогда не показывает ничего незаконченного. Никогда, никогда. Он не станет даже обсуждать ее с вами, пока она не будет совсем, совсем окончена». Я не мог этому поверить, но вскоре, беседуя с моим странно замкнутым другом, заметил, что он отлично вышколен своей супругой. Когда я попытался вызвать его на откровенность путем добродушных острот вроде того, что «людям, живущим в стеклянных домах, не следует писать стихов», он только зевал и качал головой, отвечая, что «иностранцам следует избегать старых поговорок». Тем не менее потребность узнать, что он делает со всем этим живым, блистательным, трепетным, мерцающим материалом, которым я засыпал его, свербящее желание увидеть его за работой (даже если плоды этой работы и оставались мне недоступными) были непередаваемо мучительны, они не поддавались контролю и ввергли меня в оргию слежки, которую не могли остановить никакие соображения личного достоинства.

Окна, как хорошо известно, на протяжении веков служили подмогой литературе, писанной от первого лица. Но этому наблюдателю не довелось сравняться в везении с соглядатаем «Героя нашего времени» или вездесущим автором «Утраченного времени». Все же порой выпадали и на мою долю удачи. Когда мое окно вышло из строя по вине непомерно разросшегося вяза, я нашел в конце веранды увитый плющом уголок, из которого мне открывался довольно широкий вид на фасад поэтава дома. Если мне хотелось увидеть его южную сторону, я мог спуститься за свой гараж и смотреть из-за тюльпанного дерева поверх извилистой дороги, бегущей под уклон, на несколько драгоценно ярких окон, ибо он никогда не спускал штор (она спускала). Если же мне не терпелось взглянуть на противоположную сторону, мне нужно было всего-навсего подняться в верхнюю часть моего сада, где мой лейб-гвардия из черного можжевельника караулила звезды и приметы и пятно бледного света под одиноким уличным фонарем на дороге внизу. К началу описываемой здесь эпохи я уже преодолел особый очень личный страх, о котором говорю в другом месте (см. примечание к строке 62), и с удовольствием проходил впотьмах по заросшему сорной травой каменистому выступу моих владений, завершавшемуся рощей акаций чуть выше северной стороны дома поэта.

Однажды, три десятилетия тому назад, в моей нежной и страшной юности, мне довелось увидеть человека в момент соприкосновения с Богом. Я забрел на так называемую Площадку Роз позади Герцогской часовни в моей родной Онхаве, во время перерыва в репетиции гимнов. Пока я там валандался, поочередно поднимая и охлаждая мои голые икры о гладкую колонну, до меня доносились отдаленные мелодичные голоса, сливавшиеся с приглушенным мальчишеским весельем, к которому мне мешала присоединиться какая-то случайная обида, ревнивая досада на одного из мальчиков. Звук быстрых шагов заставил меня поднять угрюмый взгляд от мелкой мозаики площадки – реалистичных розовых лепестков, высеченных из родштейна, и крупных, почти осязаемых шипов из зеленого мрамора. В эти розы и шипы всту-

пила черная тень: высокий, бледный молодой пастор, длинноносый и темноволосый, которого я встречал раза два, вышел из ризницы и остановился посреди двора. Виноватое отвращение кривило его тонкие губы. Он был в очках. Его сжатые кулаки, казалось, стискивали невидимые прутья тюремной решетки. Но нет предела той мере благодати, которую способен воспринять человек. Внезапно лицо его приобрело выражение восторга и благоговения. Я никогда еще не видел такого пламенного блаженства, но мне довелось уловить нечто столь же великолепное, ту же духовную силу, то же божественное прозрение теперь, в иной земле, отраженное на грубо вылепленном и некрасивом лице старого Джона Шейда. Как рад я был, что мои бдения в продолжение всей весны подготовили меня к наблюдению за ним в часы его волшебных летних трудов! Я изучил досконально, где и когда находить наиболее подходящие пункты, откуда следовать по контуру его вдохновения. Мой бинокль отыскивал его и издаലെка замирал на нем в различных местах, где он работал: по ночам в фиолетовом рдении его кабинета на втором этаже, где благосклонное зеркало отражало для меня его сутулые плечи и карандаш, которым он ковырял в ухе (время от времени разглядывая графит и даже пробуя его на вкус); утром, когда он таился в прерывистой тени своего нижнего кабинета, где яркая рюмочка спиртного тихонько путешествовала с канцелярского шкафа на конторку, а с конторки на книжную полку, чтобы там спрятаться, если нужно, за бюстом Данте; в жаркие дни среди лоз небольшого портика-беседки, сквозь ветви которого я мог разглядеть часть клеенки, его локоть на ней и пухлый херувимский кулачок, подпиравший и собиравший в складки его висок. Переменчивость перспективы и освещения, помехи обрамления или листвы обычно не давали мне ясно разглядеть его лицо, и возможно, что так было устроено самой природой, чтобы укрыть мистерию порождения от случайного злоумышленника, но иной раз, когда поэт шагал взад и вперед по лужку или присаживался на мгновение на скамейку в конце его, или останавливался под своей любимой карией, мне удавалось разглядеть выражение страстного интереса, восторга и благоговения, с которыми он следил за облакающимися в слова образами в своем сознании, и я знал, что, как бы ни отрицал этого мой друг-агностик, в *такие* минуты Господь был с ним.

В иные вечера, когда, задолго до обычного часа отхода его обитателей ко сну, дом бывал темен с трех сторон, видных с трех моих наблюдательных пунктов, самая эта тьма говорила мне, что они дома. Их автомобиль стоял возле гаража, но я не мог поверить, что они ушли пешком, потому что в этом случае они бы оставили гореть свет над крыльцом. Позднейшие соображения и выводы убедили меня, что ночь великой нужды, когда я решился проверить это, была на одиннадцатое июля, в день завершения Шейдом его Песни второй. Это была жаркая, черная, ветреная ночь. Я прокрался через кустарник к задней стене их дома. Сперва мне показалось, что эта четвертая сторона тоже темна, тем самым разрешая мои сомнения, и я успел испытать странное чувство облегчения, пока не заметил квадрата слабого света под окном маленькой задней гостиной, где я никогда не бывал. Оно было широко открыто. Высокая лампа под похожим на пергамент абажуром освещала глубину комнаты, где я разглядел Сибиллу и Джона, ее на краю дивана, боком, как амазонка, спиной ко мне, а его – на пуфе около дивана, на котором он, казалось, собирал и складывал в колоду разбросанные игральные карты, оставшиеся после пасьянса. Сибилла то вздрагивала, обнимая себя за локти, то сморкалась; лицо Джона было все в пятнах и мокрое. Не зная еще в то время, на какой бумаге мой друг писал, я не мог не подивиться, каким образом исход игры в карты мог вызвать слезы. Пока я тянулся, стоя по колени в ужасно упругой самшитовой изгороди, чтобы лучше видеть, я смахнул звонкую крышку мусорного ведра. Это, конечно, можно было бы отнести за счет ветра, а Сибилла ненавидела ветер. Она тотчас покинула свой насест, с грохотом захлопнула окно и спустила пронзительно скрипнувшее жалюзи.

Озадаченный, с тяжелым сердцем, я побрел назад в свое безрадостное жилище. Тяжесть на сердце осталась, но загадка разрешилась несколькими днями позже, по всей вероятности в день святого Свитина, ибо под этим числом в моем дневничке я нахожу предварительное

promnad ves pert mid J. S., вычеркнутое с таким раздражением, что графит сломался. Долго прождал я, чтобы мой друг присоединился ко мне в переулке, пока закатный пурпур не превратился в золу сумерек; я прошел к его парадной двери, поколебался, взвесил темноту и тишину и пошел вокруг дома. На этот раз из задней гостиной не было ни проблеска света, но в ярком прозаическом свете кухни я различил край беленого стола и сидевшую за ним Сибиллу с таким восторгом на лице, что можно было предположить, что она только что придумала новый кулинарный рецепт. Задняя дверь была приоткрыта, и когда я распахнул ее легким постукиванием пальцев и начал какую-то веселую, непринужденную фразу, я понял, что Шейд, сидевший в другом конце стола, что-то ей читал, – как я догадался, часть своей поэмы. Оба вздрогнули. У него сорвалось непечатное проклятие, и он хлопнул о стол пачкой карточек, которую держал в руке. Позднее он приписал эту вспышку тому обстоятельству, что, будучи в очках для чтения, принял желанного друга за назойливого бродячего торговца; но я должен признаться, что это меня потрясло, потрясло очень сильно и заставило приписать отвратительный смысл всему, что последовало. «Ну что же, садитесь, – сказала Сибилла, – и выпейте кофе» (победители великодушны). Я принял предложение, так как хотел посмотреть, будет ли чтение продолжаться в моем присутствии. Этого не случилось. «Я думал, – сказал я моему другу, – что вы собирались со мной погулять». Он отговорился тем, что чувствует себя неважно, и продолжал чистить трубку с такой яростью, будто выдалбливал мое сердце.

Я не только понял *тогда*, что Шейд регулярно читает Сибилле набравшиеся части поэмы, но *сейчас* мне приходит в голову, что она столь же регулярно заставляла его приглушать или выбрасывать из чистового экземпляра все связанное с великолепной земблянкой темой, чем я непрестанно снабжал его и что, как я любил думать – мало зная о растущем манускрипте, – должно было стать основной яркой нитью в его ткани!

Выше на том же лесистом холме стоял, и по сей день, надеюсь, стоит, дощатый старый дом доктора Саттона, а на самой вершине никакая вечность не сокрушит ультрамодерной виллы профессора К., с террасы которой можно увидеть на юге самое большое и самое грустное из трех соединенных между собой озер, именуемых Омега, Озеро и Зеро (индейские названия, исковерканные ранними поселенцами, чтобы удобнее было приписать им фальшивое происхождение и находить банальные сопоставления). На северной стороне холма Дальвичева улица соединяется с шоссе, ведущим к Вордсмитскому университету, которому я здесь посвящу всего несколько слов, отчасти потому, что читатель может получить всевозможные описательные брошюры, запросив университетское бюро информации, главным же образом потому, что я хочу, упоминая о Вордсмите более кратко, чем о домах Гольдсворта и Шейда, дать понять, что колледж был гораздо дальше от них, чем они один от другого. Это, вероятно, первый случай, что тупая боль отдаленности передается посредством стилистического приема, а топографическое понятие словесно выражено серией сокращающихся предложений.

Попетлив около четырех миль в общевосточном направлении сквозь прекрасно опрысканный и орошенный населенный район с различной крутизны газонами, нисходящими с обеих сторон, шоссе раздваивается: одна ветвь уходит налево к Нью-Уаю и его полному ожидания аэродрому, другая тянется до кампуса. Здесь расположены великие чертоги безумия, безупречно спланированные общежития – бедламы джунглевой музыки, – великолепный дворец администрации, кирпичные стены, арочные пролеты, квадратные площадки, очерченные бархатной зеленью и хризопразом, Спенсер-Хаус и его кувшинковый пруд, Часовня, Новый лекционный зал, Библиотека, похожее на тюрьму строение с аудиториями и кабинетами (отныне Шейд-Холл), знаменитая аллея из всех деревьев, упоминаемых Шекспиром, отдаленное гудение, налет тумана, бирюзовый купол Обсерватории, пряжи и бледные плюмажи перистых облаков и огороженное тополями футбольное поле с римскими ярусами, безлюдное в летние дни – разве что какой-нибудь мальчик с мечтательными глазами запускает там моторный аэропланчик на длинном контрольном лине по жужжащему кругу.

Господи Иисусе, помоги же мне как-нибудь.

Строка 49: Кария

Наш поэт разделял с английскими мастерами поэзии благородное искусство пересаживать в стихи деревья вместе с соком и тенью. Много лет назад Диза, супруга нашего короля, чьи любимые деревья были джакаранда и адиантум, переписала в свой альбом четверостишие из сборника коротких стихотворений Джона Шейда «Кубок Гебы»; я не могу удержаться от того, чтобы привести его здесь (из письма, которое я получил 6 апреля 1959 года из Южной Франции):

Священное древо

Лист Гинкго, золотистой окраски, опадающий
мускатной виноградиной,
формой напоминает плохо, по старинке
расправленную бабочку.

Когда в Нью-Уэе строилась новая епископальная церковь (см. примечание к строке 549), бульдозеры пощадил полукруг из этих священных деревьев, посаженных гениальным садоводом (Репбургом) в так называемой Шекспировской аллее на кампусе. Я не знаю, насколько это важно, но во второй строчке тут скрыта игра в кошки-мышки (mus-cat), а «дерево» по-земблянски grados.

Строка 57: Призрак качелей моей маленькой дочери.

После этого Шейд зачеркнул легкой чертой в черновике следующие строки:

Хороший свет; с длинной шеей, лампы для чтения;
Ключи во всех дверях. Ваш модный архитектор
В заговоре с психоаналитиками:
Планируя родительские спальни, он настаивает
На дверях без замков, дабы, оглядываясь назад,
Будущий пациент будущего шарлатана
Мог найти заготовленную для него «Исконную сцену».

Строка 61: Огромная скрепка телеантенны В некрологе, упомянутом в моих примечаниях к строкам 71–72, пустом и весьма идиотском во всех других отношениях, цитируется по рукописи стихотворение (полученное от Сибиллы Шейд), про которое сказано «написано нашим поэтом, по-видимому, в конце июня, т. е. менее чем за месяц до смерти нашего поэта, и, значит, последняя из написанных нашим поэтом коротких вещей».

Вот оно:

Качели

Заходящее солнце, освещающее кончики
Гигантской скрепки телеантенны
На крыше;
Тень дверной ручки, лежащаяся

На закате бейсбольной битой
На двери;
Кардинал, любящий сидеть,
Издавая чип-уит, чип-уит, чип-уит, —
На дереве;
Пустые маленькие качели, качающиеся
Под деревом, – вот вещи,
Разбивающие мне сердце.

Я предоставляю читателю *моего* поэта решить, может ли быть, чтоб он написал это стихотворение всего за несколько дней до того, как повторил его миниатюрные темы в этой части поэмы. Подозреваю, что это гораздо более раннее произведение (под ним не проставлен год, но его следует отнести ко времени вскоре после смерти его дочери), которое Шейд откопал среди своих старых бумаг, чтобы посмотреть, что можно применить в «Бледном огне» (поэме, которой наш писатель некрологов не знает).

Строка 62: Часто

Часто, почти еженощно, в течение всей весны 1959 года, я жил в страхе за свою жизнь. Одиночество – это игральное поле Сатаны. Я не могу описать глубину моего одиночества и муки. У меня, конечно, был мой знаменитый сосед, сразу по ту сторону переулка, да еще одно время я держал беспутного молодого квартиранта (который обычно приходил домой далеко за полночь). Но мне хочется объяснить ту холодную твердую сердцевину одиночества, которая так вредна для перемещенных душ. Всякий знает, как склонны зембляне к цареубийству: две королевы, три короля и четырнадцать претендентов умерли насильственной смертью, удушенные, заколотые, отравленные или утопленные, за одно только столетие (1700–1800). Гольдсвортский замок становился особенно одиноким после той поворотной точки сумерек, которая так сильно напоминает потемнение рассудка. Приглашенные шорохи, поступь прошлогодних листьев, праздный ветерок, пес, совершающий обход мусорных ведер, – во всем этом мне слышалось приближение кровожадного бандита. Я переходил от окна к окну, в вымокшем от пота шелковом ночном колпаке, с голой грудью, похожей на отмерзающий пруд, а иногда, вооружившись дробовиком судьи, смело выходил навстречу угрозе террасы. Полагаю, что именно тогда, в эти замаскированные под весну ночи, когда звуки новой жизни в деревьях так жестоко подражали потрескиванию старой смерти в моем мозгу, полагаю, что именно тогда, в эти страшные ночи, я привык обращаться к окнам дома моего соседа в надежде найти проблеск утешения (см. примечание к строкам 47–48). Чего бы не дал я тогда за то, чтобы с поэтом случился новый сердечный припадок (см. строку 691 и примечание), чтобы меня позвали к ним в дом с ярко освещенными окнами, посреди ночи, в великом горячем приливе симпатии, кофе, телефонных звонков, рецептов из земблянских трав (они творят чудеса!) и с воскресшим Шейдом, плачущим в моих объятиях («Ну будет, будет, Джон...»). Но в те мартовские ночи их дом был черен, как гроб. И когда наконец физическое изнурение и могильный холод загоняли меня наверх в мою одинокую двуспальную постель, я лежал в ней, не засыпая, не дыша – как будто только теперь сознательно переживая те гибельные ночи в моей родной стране, когда в любое мгновение мог войти отряд трясущихся от страха революционеров и потащить меня к залитой лунным светом стене. Звук быстрого автомобиля или стон грузовика доходили до меня как странная смесь дружеского утешения жизни и устрашающей смертной тени: не остановится ли эта тень у моей двери? Эти призрачные убийцы, не за мной ли они пришли? Пристрелят ли они меня сразу или же переправят захлороформированного ученого контрабандой в Земблю, родную Земблю, чтобы он там предстал перед сверкающим графином и рядом судей, ликующих в своих инквизиторских креслах?

Временами мне думалось, что только путем самоуничтожения я могу надеяться обмануть неуклонно подступающих убийц, которые были во мне, в моих барабанных перепонках, в моем пульсе, в моем черепе, скорее чем на этом перманентном шоссе, петлившем надо мной и вокруг моего сердца, пока я засыпал, затем только, чтобы мой сон был разрушен пьяным, невозможным, незабвенным Бобом, возвращавшимся в бывшую постель Викки или Грейс. Как вкратце отмечено в предисловии, я в конце концов его выгнал, после чего в продолжение нескольких ночей ни вино, ни музыка, ни молитва не могли преодолеть моих страхов. С другой же стороны, эти наливавшиеся соком весенние дни были вполне выносимы, лекции мои всем нравились, и я вменил себе в обязанность посещать все доступные мне общественные сборища. Но после веселого вечера снова наступало коварное подкрадывание, окольное шарканье, это подползание, это замирание и возобновленный хруст.

Гольдсвортовское шато имело множество наружных дверей, и как бы тщательно я ни проверял их, а также оконные ставни внизу перед тем, как лечь спать, на следующее утро мне неизменно доводилось найти что-нибудь отпертое, отомкнутое, слегка расшатанное, слегка приоткрытое, что-нибудь хитрое и подозрительное на вид. Однажды вечером черный кот, которого за несколько минут до того я видел струящимся вниз по пути в подвал, где я устроил ему туалетное приспособление в располагающей обстановке, вдруг появился на пороге музыкальной комнаты, посреди моей бессонницы и вагнеровской пластинки, выгибая спинку и щеголяя бантом из белого шелка, который он, конечно, никак не мог нацепить самостоятельно. Я позвонил 11111 и несколько минут спустя обсуждал возможных виновников с полицейским, которому очень пришлась по вкусу моя вишневая наливка, но кто бы ни был взломщик, следов он не оставил. Жестокому человеку так легко заставить жертву его изобретательности уверовать в свою манию преследования, или в то, что его действительно подстерегает убийца, или что он страдает галлюцинациями. Галлюцинации! Я прекрасно знал, что среди молодых преподавателей, авансы которых я отверг, был по крайней мере один дурной предприимчивый шутник; я знал это с того времени, когда, вернувшись домой после весьма приятной и успешной встречи между студентами и преподавателями (на который в пылу увлечения я скинул пиджак и показал нескольким любителям кое-какие забавные приемы, применяемые земблянскими борцами), нашел в кармане пиджака грубую анонимную записку следующего содержания: «Ну и hal..... s¹⁴ же у тебя, друже», что, очевидно, означало «галлюцинации» (hallucinations), хотя недоброжелательный критик мог заключить из недостаточного числа точек, что этот г-н Аноним, несмотря на то что преподавал английский первокурсникам, едва ли знал орфографию.

Я счастлив доложить, что вскоре после Пасхи мои страхи исчезли и никогда больше не вернулись. В комнату Альфины или Бетти въехал другой жилец, Бальтазар, князь Черноземный, как я прозвал его, который со стихийной регулярностью засыпал в 9, а к 6-ти утра уже сажал гелиотроп (*Heliotropium turgenevi*). Это тот цветок, запах которого с извечною силой вызывает передо мной сумерки, и садовую скамью, и деревянный крашеный дом в далекой северной стране.

Строка 70: Новую антенну

После этого в черновике (под датой 3 июля) следует несколько нумерованных строчек, возможно предназначавшихся для каких-то более поздних частей поэмы. Они не то чтобы вычеркнуты, но снабжены вопросительным знаком на поле и обведены волнистой линией, набегающей на некоторые буквы:

бывают события, странные происшествия, которые поражают
ум своей эмблематичностью. Они напоминают

¹⁴ Halitosis (дурное дыхание).

потерявшиеся сравнения, дрейфующие без каната,
ни к чему не прикрепленные. Как тот северный король,

чье отчаянное бегство из тюрьмы удалось
только потому, что человек сорок
его сторонников в ту ночь
нарядились под него в подражание его побегу.

Он никогда бы не достиг западного побережья, если бы среди его тайных приверженцев, романтических, героических смельчаков, не распространилась прихоть подражать беглецу-королю. Они нарядились, как он, в красные свитеры и красные кепки и неожиданно появлялись то там, то тут, совершенно сбивая с толку революционную полицию. Иные из проказников были гораздо моложе короля, но это не имело значения, поскольку его портрет в горных хижинах и в близоруких деревенских лавчонках, где можно купить червей, пряников и лезвия «жилетка», не постарел со времени коронации. Очаровательный карикатурный штрих прибавился к этой знаменитой истории, когда с террасы отеля «Кронблик», с которой подвесные кресла поднимают туристов на ледник Крон, один веселый мим проплыл вверх, подобно красному мотыльку, с незадачливым простоволосым полицейским двумя сиденьями ниже в медленной, как сон, погоне. С удовольствием добавляю, что лже-королю удалось, не доезжая до верха, спуститься по одной из опор, несущих тяговый трос (см. также примечания к строкам 149 и 171).

Строка 71: Родители

Профессор Хёрли с похвальной поспешностью написал обзор опубликованных произведений Джона Шейда менее чем через месяц после смерти поэта. Он вышел в тщедушном литературном журнальчике, название которого выпало у меня из памяти и который был мне показан в Чикаго, где я прервал на два-три дня свое автомобильное путешествие из Нью-Уая в Сидарн, в эти угрюмые осенние горы.

Комментарий, в котором должна царить мирная научность, не место для разноса смехотворных изъяснов этого краткого некролога. Я только потому упомянул о нем, что там я подобрал несколько скудных подробностей, относящихся к родителям поэта. Отец его, Сэмюель Шейд, умерший пятидесяти лет от роду в 1902 году, в молодости изучал медицину и был вице-директором фабрики хирургических инструментов в Экстоне. Однако главной его страстью было то, что наш красноречивый автор некролога назвал «изучение пернатого племени», прибавляя, что в его честь была названа птица – *Bombycilla Shadei* (нужно, разумеется, *shadei*). Мать поэта, рожденная Кэролина Лукин, помогала ему в этой работе и сделала восхитительные иллюстрации к его «Птицам Мексики», которые я, помнится, видел в доме моего друга. Чего автор некролога не знает, это что Лукин происходит от Луки, так же как и фамилии Локок, Люксон и Лукашевич. Это один из многих примеров того, как аморфное на вид, но живое и личное отчество разрастается иногда в фантастические формы вокруг простого камушка крестного имени. Лукины – старинный эссекский род. Иные имена происходят от профессий, так, например, Раймер, Скривенер, Линнер (иллюстрирующий рукописи на пергаменте), Боткин (делающий ботинки – изысканную обувь) и тысячи других. Мой воспитатель, шотландец, называл всякое полуразвалившееся здание «херлиев дом»! Но довольно об этом.

Читатель Джона Шейда может найти в профессорской статье еще некоторые мелочи, относящиеся к его университетским занятиям и средним годам его исключительно небогатой событиями жизни. Статья была бы довольно скучной, не будь она оживлена, если можно так выразиться, некоторыми особыми отличиями. Так, она содержит лишь одно упоминание о шедевре моего друга (аккуратно сложенные стопки которого лежат, пока я это пишу, на солнце,

на моем столе, подобные слиткам сказочного металла), и это я списываю со злорадным наслаждением: «Как раз перед безвременной кончиной нашего поэта он, по-видимому, работал над автобиографической поэмой». Обстоятельства этой кончины совершенно искажены профессором, фатально следовавшим за господами из повременной печати, которые – быть может, из политических соображений – исказили побуждения и намерения бандита, не дождавшись суда – которому, к несчастью, не суждено было состояться на этом свете (см. в свое время мое последнее примечание). Но, конечно, наиболее разительная черта этого небольшого некролога – это то, что он не содержит ни единого упоминания о лучезарной дружбе, озарившей последние месяцы жизни Джона.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.